



Иштван Фекете

ЛУТРА

Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач _____

~~33~~ 15/T-857

40-18/III

117 27-21

Итого 300-495

Ф 369 Фекте Иштван

" Мюллер

19812 2-20

~~43~~ 15/T-857

40-18/III

157-27/IV 27

87-81/2

152-16/III

155-4/IV

300

~~345887~~

V



Иштван Фекете
ЛУТРА

ЛУТРА

Approved for publication by
Library of Congress
1955



sp 369

б.о.

Иштван Фекете

ЛУТРА

История одной выдры

sp 266

sp 98

проб

Yashnobod Temir yo'l kasb-hunar kolleji
 Axborot-resurs markazi
 № 495

sp 1 sp-84

v96 v93

YOSHKENT SHAHAR YASHNOBOD TUMANI
 № 52228
 AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI

~~Ф. И. О. И. И.~~

Издательство «Корвина»
Будапешт

345887

456

Река эта существовала давно, с незапамятных времен. Весной, когда на горах начинали таять снега, образующиеся потоки с шумом бежали по камням к зажатой меж высоких берегов реке, что река не выдерживала: выплескивала эту грязь, столько грязи, на берега. По колышущейся на ее поверхности пене можно было читать о происшедшем как в газете. Вода служила и почтальоном. Горы посылали родие на равнину письма — прошлогодние листья, но иногда лишь щепки — траурное извещение о том, что деревня срублена. Иногда по воде плыл ворох гнилого бена, значит где-то поток со снежной вершины выбежал на дуга и, подхватив копну, отдал ее реке: пусть делает с ней что хочет.

А река, вздымаясь, металась, ярилась, грызла берега, в одном месте уносила, на другом откладывала ил, рыла ямы, словно зная, что днем в них будут отлеживаться большие сомы, которые только по ночам совершают разбойничьи набеги. Она прокладывала и подводные туннели в несколько метров длиной. Они вели на берег, где высоко над водой получались норы, сухие и скрытые от посторонних глаз.

Когда снег в горах весь исчезал, ручьи делались степенными и сбегали в долины хоть и проворно, но без прежнего неистовства; река замедляла свое течение, становилась спокойней, чище и ласково поглаживала берега, точно прося прощения за весеннее буйство.

Вода все убывала и убывала, приносила лето, полевые цветы, запах сена и пернатое царство больших лугов. Когда река завершала свои весенние набеги, многие птицы еще молча сидели в яичной скорлупе, а теперь яйца разбивались, из одного с любопытством высовывала голову дроздовидная камышовка, из другого кряква, маленькая цапелька или ушастая сова.

Река не останавливалась, текла, как время, у которого нет ни начала, ни конца. Уносила и приносила дни, недели, и когда старый тополь уронил в нее свой первый сереб-

ристо-золотой лист, вода покружила его, рассмотрела как следует, а потом с тихим плеском сказала:

— Осень пришла.

— Да, — кивнул старый тополь и склонился над рекой, словно бы тщеславно смотрясь в ее зеркало.

— Когда-нибудь, старый тополь, ты свалишься ко мне в воду, — пробормотала река, — но мне это нипочем.

— Чепуху мелешь, хотя стоять мне и нелегко, — трепетало на ветру старое дерево. — Подо мной пещера, и не за что цепляться корнями. Ты же ее и проделала.

— Это старая история, — оправдывалась река. — Ты был тогда молоденьким деревцем. И не забудь, я тебя сюда принесла. Может, под тобой рыл землю Лутра?

— Нет. Он, правда, прокопал выход в кустах, но это пустышки. А потом только траву таскал в нору. С ним я дружно живу.

— Я тоже, хотя иногда он ловит слишком много рыбы, но это дело рыбаков. Скоро, сдастся мне, они сдерут с него шкуру, его прекрасную шкуру.

— Нет, — прошептал тополь, — с Лутрой не справятся рыбакам и даже егерю. Он и на охоту под водой идет и под водой назад до норы добирается. Даже я редко его вижу, не знаю, дома ли он сейчас.

— Ступай, дочка, — сказала река маленькой волне, — ступай, погляди, дома ли большой Лутра.

Волна юркнула в туннель и тут же выкатилась оттуда.

— Дома, — весело прожурчала она. — Шевелит только носом. Видно, спит.

— Лутра спит и не спит, — прошептал старый тополь, — а вот меня определенно клонит ко сну.

Дремал весь край.

Клевал носом камыш, поскольку уже не стрекотала камышовка; спала осока, которой не надо было уже баюкать ярких стрекоз; спал на берегу шиповник, которому незачем было уже охранять опустевшее гнездо сорокпута; зияли пустотой примолкшие гнезда в откосах берега; даже лодки лежали на берегу, повернувшись вверх килем,

ведь рыбаки убирала где-то кукурузу. Только Лутра не спал.

Он, в сущности, почти никогда не спал. А если и засыпал, то сон у него был более чуткий, чем у лисы, у куницы или рыси, которые славятся своим зрением, слухом и обонянием, но все эти три чувства: зрение, слух и обоняние шитые вместе не были у них так совершенны, как у выдры.

А Лутра был выдрой, самым большим и великолепным самцом-выдрой, который когда-либо оставлял следы своих лап и береговом иле. Он не был водным животным, но плавал лучше, чем самая проворная рыба, видел в воде лучше, чем нырки, и слышал лучше всех обитателей вод, у которых нет ушей, и звуки они воспринимают телом благодаря незаметному колыханию воды.

Лутра же слышал! Слышал, хотя нырял опуская уши, чтобы вода не проникла в ушную раковину, снабженную тонкими сосудиками-антеннами. Он с самого рождения умел совершенно закрывать уши.

Его обоняние не было испорчено табачным дымом, как у людей, или вонью конюшни, как у домашних животных, и если еще принять во внимание его зоркие глаза, которыми он видел лучше, чем дикая кошка, то можно с уверенностью сказать, что вряд ли из его великолепной шкуры когда-нибудь сделают шапку или меховой воротник.

Сейчас большая выдра отдыхает, лежит свернувшись клубком, и по ее огромному, почти полуметровому телу почти не заметно, что она дышит. Глаза у нее закрыты, но нос подрагивает, уши шевелятся, точно донося своему хозяину о новостях в окружающем мире.

Нора у Лутры больше, чем обычно бывает у выдр, — ведь ее промыла река во время половодья, и он только расширил туннель, который, полого поднимаясь, врезается глубоко в берег. Благодаря его бесконечному хождению туда и обратно стенки и пол коридора стали гладкими, а в конце находится выстланная сухой травой и мохом нора, где сейчас после ночной охоты отдыхает Лутра.

Из норы есть еще один, запасной выход в кусты, его

проделал сам Лутра. Он, наверно, воспользовался бы им, если бы пришлось спастись бегством, но вообще-то он служит скорей просто отдушиной; прикрытый ворохом опавших листьев, он прячется среди густого кустарника, так что человеку его трудно найти.

Тропинка проходит по берегу как раз над норой, чуть отступя от большого тополя, но сердце у Лутры не бьется учащеннее, когда над ним раздаются шаги; трехметровый слой земли отделяет его от человека, который и не подозревает, что под ним лежит растянувшись выдра. Потом шаги удаляются, и земля доносит постепенно стихающие звуки.

Нора чистая и сухая. В отличие от лисы, выдра — если только у нее нет детенышей — не втаскивает в свой дом добычу: маленькую рыбку она съедает плывя по реке, большую — на берегу, но не в норе.

Когда по воде скользит лодка и волны доносят плеск весел, уши-часовые у Лутры шевелятся проворней. Человек опасен. Никогда нельзя знать, что он замышляет, поэтому выдра открывает глаза и смотрит в водяное зеленое окно в конце туннеля. В нем мерцает бледный свет, и в норе то темней, то светлей, смотря по тому, затянуто небо облаками или светит солнце, какая вода, прозрачная или мутная, и когда происходит дело, утром или вечером. Устье туннеля смотрит на противоположный, восточный берег, и после полудня окошко в тени. Лутра мог бы пользоваться им вместо часов, но он не знает, что такое часы, и на бег времени ему указывает только желудок. Голод он чувствует обычно вечером, когда приближается час охоты.

Летом иногда случалось, что какая-нибудь лодка оставалась как раз над отверстием-окошком. Долго скрипели доски сидений и доносились голоса; разговоры не прекращались до самого вечера, и Лутра уже посматривал на запасной выход, которым обычно не пользовался.

Люди удили рыбу. Когда они забрасывали удочки в воду, то переходили на шепот, но не умолкали весь день. Лутра не понимал, о чем говорят, но напряженно слушал, хотя голоса не звучали агрессивно. Его чуткие уши улавливали

каждый шорох, и если движение наверху нарастало, мышцы у него напрягались. Удочки часто закидывали, вытягивали, и он слышал, как билась рыба.

— Что это за рыба? — спросил наверху детский голосок.

— Лец, — ответил кто-то. — Лец — хорошая рыба, только надо уметь его приготовить. Положи-ка в подсачок.

Мальчик вытащил из воды подсачок и бросил в него рыбу. Потом подсачок, привязанный к одной из уключин, вместе с добычей погрузился глубоко в воду.

— Дай мне пиявку.

— Я, дядя Дюла, боюсь их в руки брать.

— Эх ты, трусишка, — прогудел бас.

— Пиявок боюсь, а червяков нет.

— Сейчас пиявка нужна. Тут водятся сомы, а сом любит пиявок. Ну-ка, погляди! Надо насадить ее на крючок. Видишь, вот у нее присосок. А теперь я срежу его ножницами.

— Зачем? Чтобы выступила кровь? Тогда скорей клюнет рыба?

— Нет, не для этого. Не срежь я присоска, пиявка прилепилась бы к водяному растению или камню и не шевелилась, а так она начнет извиваться: захочет присосаться, а нечем, и своим движением будет приманивать рыбу. Особенно сома. Прошлый год я поймал тут большого, килограммов на десять.

Старик закинул удочку, сел и вновь замолк.

Сначала Лутра нервно вздрагивал каждый раз, как возобновлялся разговор, но потом успокоился: шум наверху перестал его волновать. Людям не было до него дела.

— Ой! — закричал вдруг мальчик так громко, что выдра испуганно вскочила. — Ой, как сильно тянет!

Сверху послышались стук, плеск, от качания лодки короткие волны побежали в туннель.

— Сядь на корму, Пишта, — донесся опять мужской бас. — Да, верно, рыба большая, только бы выдержала леска. . . Вот было бы у нас метров двести хорошей лесы. . .

Что будет, если эти восемьдесят разматаются и я не смогу удержать рыбу? Отвяжи лодку, отвяжи, распутай эту проклятую веревку или выдерни кол. Осторожно, осторожно!

Молчание.

Потом глубокий вздох.

— Ушла?

— Дурачок, разве не видишь? Ушла и утащила всю лесу. А успел бы ты отвязать веревку, она поволокла бы за собой лодку.

— Дядя Дюла, очень уж вы туго затащили веревку, а колышек я не смог выдернуть.

Опять долгое молчание. Лутра успокоился, и потом уже только привычные шумы доносила до него река: громкий плеск воды, подъем и опускание подсачка с рыбой и, когда стало смеркаться, — удаляющийся скрип уключин.

В тот вечер Лутра поздней обычного выполз в подводный туннель, — ведь человека надо остерегаться. Под водой переплыл реку и у противоположного берега на миг вынырнул и огляделся. Вокруг пусто, ни подозрительных запахов, ни звуков. Убедившись в этом, он отправился на охоту.

Это происходило еще летом. Теперь подобный шум уже не тревожит большую выдру. Вода принесла запах скисшей конопки, и он напомнил Лутре рыб, которых он ловил в мочиле. Он не задумывался над тем, отчего там такие «кроткие» рыбы; откуда было ему знать, что замоченная конопка их одурманивает. Но он и не больно любил эту полудохлую беспомощную добычу. Никакой борьбы, спорта, игры.

Выдра, разумеется, понятия не имела о том, что такое спорт, борьба, игра. Но эти занятия доставляли ей огромное удовольствие, заполняли всю жизнь, и чемпиону мира по плаванию на стометровой дистанции она могла дать шестьдесят метров фору.

Лутра, конечно, не способен был думать, предаваться воспоминаниям, как люди, но что-то запечатлевалось в его памяти, и повторяющиеся обстоятельства внушали ему

уверенность или побуждали к осторожности. Запах затхлой конопки напоминал ему об одурманенных рыбах, а натываясь под водой на вершу, он осторожно ее обходил, ведь верша сушила опасность, неволю и, в конечном счете, гибель.

Как-то раз, еще давно, погнавшись за карпом, Лутра провалился в вершу; туда был путь, а обратно нет. Он схватил карпа, хотел вынести его на берег, но всюду натывался на сетчатую стенку. В чем дело? Он метался из стороны в сторону, сетка не пускала, а в легких уже исеякал воздух; Лутра, большой Лутра стал задыхаться. Теперь ему было не до карпа, лишь бы выжить. Бросив рыбу, он дергал, рвал, грыз сетку, пока не выбрался на поверхность, — иначе еще минута, и он бы погиб. Выдра может долго находиться под водой, но если время от времени не набирает в легкие воздух, то, конечно, задыхается.

С тех пор Лутра осторожно проплывает возле верши и боится даже прикоснуться к ней, хотя и не знает, что это такое. Там часто плещутся рыбы — заманчивая добыча, — которым уже не спастись, однако он обходит вершу стороной, что-то предупреждает его об опасности.

В норе уже царил полумрак. На старом тополе каркали вороны; Лутра, потянувшись, сел и прислушался. Но берегу шли люди. Топот приближался.

Тогда он пошире раскрыл глаза и стал смотреть в окошко туннеля, где тени сначала колыхались, а потом замерли. Стук шагов стих над самой норой.

— Она, верно, где-то здесь, черт ее задави! Какой же ты, Миклош, охотник, если не можешь ее поймать?

— Здесь ее нет, — отозвался другой голос. — Я обошел весь берег, нет даже следа выдровой норы.

— Ну, коли ты ищешь нору. . .

— Да, нору. Под берегом ей не спрятаться, там нет подходящей норы. Иногда выдры живут в дуплах; конечно, не на верхушках деревьев; на худой конец спят в стогах сена.

— Не поискать ли тебе ее на колокольне?

— Не болтай чепухи, — топнул ногой егерь. — Давай говорить серьезно или помолчим.

— Я говорю серьезно. Поэтому и упомянул о колокольне. Может, выдры и часы выправляют.

— Ну, с тобой совсем разговаривать нельзя.

— Почему же нельзя? Покойный старик Салаи каждый год продавал по несколько выдровых шкур, а ты не добыл ни одной. И ружьем не застрелил, и в капкан не поймал.

— Я пять хорьков поймал и убил восемь лисиц. Чего тебе от меня надо?

— Поймай выдру! Я рыбак, что мне за дело до лисы и хорька? Меня зло берет, когда я нахожу тут убитого карпа, там сома. Эта свинья не съедает их, убьет, откусит немного и бросит. Ты же не будешь отрицать, что выдра губит рыбу?

— Конечно! — раздраженно ответил егерь. — Здесь где-то она, наверно, — и он сердито топнул ногой в нескольких метрах над Лутрой. — Но мы имеем дело с какой-то старой стервой, хитрой шельмой, которую только случай может дать нам в руки.

Поглядывая наверх, Лутра чесался, хотя блох у него не было.

Ему не нравился этот топот и слишком близкие человеческие голоса.

Рыбак скрутил сигарку и сунул кисет егерю.

— Закуривай, Миклош. Леший побери твою выдру!

— Если бы она была моя!

— Мельник говорит, она таскает у него гусей. Средь бела дня одного уволокла.

— Ничего подобного. Я сам видел. Гуся утащил сом. Видно, огромный сом, ведь когда гусь пропал, вода сразу поднялась, точно затонула телега.

— Да ну! — рыбак посмотрел на егеря, и глаза у него заблестели. — Да ну!

— Говорю тебе. И не приставай ко мне с этой выдрой, она и так в печенках у меня сидит.

— Я и не собирался тебя дразнить, сам знаешь: когда разовлишься, то и наговоришь лишнего. Но с тем сомом неплохо бы поесть из одной миски, как думаешь?

— Думаю, что возле этой миски и мне место нашлось бы.

— То-то же, — кивнул рыбак. — Приходи сюда на расвете, будем метать невод.

А под ними в норе Лутра смотрел в темноту. Потом, перевернувшись на другой бок, лег поудобней, — ведь шаги и голоса смолкли. Позже на тополе начала каркать серая ворона, что окончательно успокоило выдру. Ворона, разумеется, говорила лишь «кар, ка-а-ар», но это означало, что люди ушли, и если кружащей поблизости сестрице пришла охота поболтать немного, на сухих ветках тополя найдется место присоседиться, и опасности нет.

Уже наступили сумерки. Крона большого тополя плавала в красноватой тени, и над большим лугом, как от дыхания на холоде, полз осенний туман. Солнце вскоре опустилось к краю небосклона, его красная тарелка словно расплющилась и тут же погасла. На западе еще некоторое время слегка светились облака, потом луг окутала мгла и лишь серебряный бич реки извивался, лепеча что-то в ночи.

Наступил момент, когда встают ночные охотники.

Возле зарослей камыша сидел лис Карак, чуть погодя он незаметно выполз на луг. В туманной выси долго кричала сначала одна, затем другая зафюздалая перелетная птица, но это не привлекло его внимания. Глаза лиса горели зелеными огоньками и наостренные уши вбирали голоса мрака. Он потянул разок-другой своим влажным носом, потом сердито почесался, — ни нос, ни уши ничего ему не сказали. Ни об опасности, ни о пище. А Карак был голоден, и его желудок точно предупреждал:

— Сколько б ты здесь ни сидел, зайчатины тебе не видать.

Тогда лис прыгнул во тьму — гоп! — почти растворился в ней. И тут же лег на брюхо: по тропинке у тополя кто-то медленно шел ему навстречу. Маленькая тень двигалась пока что вдалеке и потому не грозила опасностью.

Лис лежа повернулся и тихо пополз, чтобы перерезать ей путь. На берегу рос маленький кустик, и Карак направился к нему, — ведь неведомый зверек непременно пройдет мимо.

«Это, конечно, Мяу», — разохотившись, облизнулся Карак, поскольку Мяу, домашняя кошка, среди лис считается большим лакомством.

Лисы, разумеется, не осмеливаются нападать на диких кошек, особенно на больших котов. Дикая кошка — сама шипящая молния, стальные пружины ее когтей бьют без промаха, и, польстившись на ее мясо, можно поплатиться глазом.

Мяу важно вышагивала по дорожке, отрясая с лапок росу; иногда она пропадала из виду, но это лиса не смущало: это кошка то и дело спускалась к воде, считая, что еще прыгают лягушки, которые уже крепко спали в тине.

Мяу была серая, с белым пятном на боку, признаком слабости. Дикие животные редко бывают белыми, а если белеют, то лишь к зиме, как, например, горностаи, ведь белый цвет — страшный предатель. мех у горностая летом коричневый, как опавшая листва, а зимой его белую шубку на снегу не видно. В голубиной стае ястреб прежде всего





убивает белого голубя, и белый воробей никогда долго не живет: его без труда замечает перепелятник.

И Миу тоже предало и погубило белое пятно.

Лис, напрягшись, точно натянутый лук, ждал ее у куста. Глаза у него были чуть прикрыты, — ведь они могли выдать его. И когда белое пятно мелькнуло возле засады, он начал на кошку. Но это не было для нее полной неожиданностью. То ли раньше времени шевельнулась травинка, то ли Карак задел ветку, но кошка успела подготовиться и со смертельной ненавистью вцепилась зубами в его морду.

— Мья-я, хр-р-р, — хрипела она.

И хотя Карак прижимал ее к земле, она молотила передними лапами, как цепом, и если бы не тьма, было бы видно, что морда у лиса вся в крови.

— Миу-у-у, — прощалась кошка с жизнью и мышинным мясом. — М्याу, м्याу-у-у, — и напоследок сомкнула острые зубы на носу у противника.

Лис нанес М्याу еще один удар, потом, вскочив на ноги, отбросил ее подальше, но тотчас побежал к ней, — ведь кошки, по мнению некоторых, необыкновенно живучи. Но Миу уже окончательно затихла.

Сражение кончилось, и хотя Карак не сказал: «Я это запомню!» — мы можем не сомневаться, что в следующий

раз, повстречавшись с ношкой, он будет осторожней, схватит ее иначе, ведь он инстинктивно запомнил свои ошибки. Сейчас он облизывает кровоточащий нос, трясет головой, уши у него все изодраны. С яростью смотрит он на распростертого врага и тихо фырчит, точно говоря:

— Да, эта схватка была неудачной, ничего тут не скажешь.

— Ку-у-вик, ку-у-вик, — протянула вдруг на ветке маленькая болотная сова, и Карак чуть не подпрыгнул от неожиданности.

— Чтоб тебя вши заели, — заворчал он на сову. — И ты взялась меня пугать?

— Ку-у-вик-вик, — любезно сказала она. — Пришел конец Мяу. Да, пришел ей конец.

— Иди-ка ты отсюда! — злобно проворчал лис.

— Вик-вик! — прокричала совушка, — у тебя, Карак, морда в крови, вся в крови. Мяу была ловкая, но все же ей пришел конец.

Лис раздраженно тряхнул головой.

— Скажи, с чего тебе вздумалось тут галдеть? Неужто ты не голодна?

Откинув назад косматую голову, маленькая совушка бросилась вниз и, покачиваясь, улетела, — ведь возле реки тихо, крадучись, шел человек. Спрятавшись в высокой траве, лис стоял настороже. Он ни за что не хотел бросить Мяу и чувствовал, что человек его не видит.

То и дело останавливаясь, по тропинке шел егерь Миклош. Он смотрел то на реку, то на луг. Луна начала всходить. На воде слегка колыхалась серебристая лунная дорожка, и свет луны блеснул и на шерсти Мяу.

«Что там белеет? — спросил сам себя егерь, но поскольку не мог ответить, подошел поближе. — А-а, это же кошка мельника. Что с ней стряслось? Утром погляжу, сейчас все равно ничего не видно. Кто-то притащил ее сюда. Неужто здесь бродит лисица? Ну, против лисицы есть одно средство. — Он вытащил из кармана носовой платок и прикрыл

им кошку. — Вот так! Теперь вы увидите, как выдра попробует при-
виться!»

И пошел к старому тополю; под ним, у излучины реки, на высоком берегу, можно посидеть, подремать немного, там надеялся он увидеть когда-нибудь огромную таинственную выдру, которая, судя по следам, ходит вокруг и губит рыбу, но только непонятно, где ее нора.

Егерь не раз то в задумчивости, то с раздражением изучал ее большие следы, которые нельзя спутать со следами никакого другого четвероногого, ведь у выдры, как и у утки, пять пальцев соединены плавательной перепонкой.

Миклош брел по берегу, то и дело посматривая по сторонам и радуясь, что светит луна, — ведь восходящая луна проложила по воде сверкающую дорожку, и если ее пересечет выдра...

Мерцающий лунный свет просачивается и в устье туннели, и Лутра как раз собирается отправиться на охоту или рыбную ловлю, как захочется. Он нюхает воду, потом мягко и бесшумно ныряет под воду. Уши у него опущены, краешней шубка покрыта пузырьками воздуха. Выдра может долго находиться в воде и под водой, но мех у нее всегда остается сухим, а потому греет даже подо льдом, где через несколько минут остановилось бы сердце человека.

Лутра проплывает под мостиком лунных лучей, и, заглянув его тень, в испуге всплывает на поверхность большая щука.

Егерь подходит к дереву и, заслышав всплеск, поворачивает голову, но видит лишь круги на воде.

«Рыба резвится», — думает он, но если бы он спросил щуку, она бы ему сказала, что рыбе сейчас не до шуток. С выдрой шуточки плохи.

Лутра не обращает внимания на щуку. Он давно уже понял, что возле норы рыбу доводить нельзя, иначе оставить следы. Ничего вокруг не должно выдавать его присутствия.

Противоположный берег илтистой долины, и там, в тихом заливишке, растет невысокий камыш. Высунув нос из

Yashnobod Temir vol' kash-hunar kolleji
Axshub od temir markazi
№№ 495

214

воды, Лутра принохивается, потом, словно тень, ложится на тенистый ковер. Вдруг взгляд его останавливается на каком-то непривычном, постороннем предмете, — это ружье егеря, прислоненное к дереву. Ружейный ствол блестящей холодной линией перерезает кору старого тополя, и теперь уже Лутра видит под ним и лицо человека. Но поскольку никто и ничто не шевелится, не шевелится и выдра. Опасность всегда начинается с какого-нибудь движения. Слившись со мглой и тишиной, Лутра ощущает все, что происходит во мгле. Под ним тихо струится вода, а над ним начинает куриться туман.

Сейчас он следит за излучиной реки: там творится что-то странное. Оттуда бегут волны, точно плывет лодка, но он знает, что дело не в этом. Там шевельнулась какая-то большая рыба, всплеснула вода и вновь наступила тишина. Егеря и ружье его исчезли. Лутра выполз из тины и перевернувшись на спину плывет, не покидая тени, вниз по течению, потом сворачивает к тополку. Он лениво помахивает своим толстым хвостом и хотя не проявляет к астрономии никакого интереса, кажется, будто смотрит на звезды. Но на самом деле он почуял большого сома: о нем говорил сильный плеск в излучине, а такую огромную рыбу даже выдра обходит стороной. С ней лучше не связываться. Лутра еще не забыл своей прошлогодней схватки с сомом, который был значительно меньше. Он вцепился в сома неудачно, тот увлек его на каменистое дно и там сбросил с себя, как жалкую вошь. Ему тогда небо с овчинку показалось, и он до сих пор помнит о своей неудаче.

Егеря же не боялся сома. Он перестал выслеживать выдру и пошел посмотреть, где разбойничает сом, чтобы утром рассказать о нем рыбакам.

Луна уже поднялась высоко над деревьями. Лутра нырнул и направился к бухточке, где тихо струилась вода и рос невысокий камыш, — ведь рыба любит прятаться в траве. Но это знали и щуки, которые охотились там на мирных лещей и карпов.

Хотя щука застыла, став похожей на корягу, Лутру ей не



удалось обмануть. Опустившись, как бесплотная тень, он снизу схватил рыбу, которая даже не слишком билась. Когда он вытащил ее на берег, она ударила разок-другой хвостом и навеки затихла. Лутра торопливо, отрывая от хребта, ел щучье мясо, но то и дело поднимал голову и прислушивался. Ветра не было, никакой запах не доносился, но на лугу как будто что-то шевелилось, и потому, лишь наполовину насытившись, он бросил щуку. Потом спустился в воду и поплыл.

Много позже из травы вылез лис Карак. Он принюхался, слегка повернув голову. Затем сел. Слизнул кровь с губ и растянулся на земле, почуяв носом Лутру. Особый запах точно сказал ему:

— Это я! Выдра!

Но запах был уже не теплый, не живой, он говорил о том, что Лутра уже ушел, а на берегу остались объедки рыбы.

Это успокоило лиса, но он все еще не решался пошевелиться, — ведь Лутра вполне мог вернуться, а связываться с ним было равносильно самоубийству. Лис уже не раз видел большую выдру, но избегал ее, хотя охотно шел по ее остывшему следу и всегда находил что-нибудь съедобное. И на этот раз тоже. Весь подобрравшись, готовый к прыжку, он подполз туда, откуда тянуло рыбьим духом, и подтащил к себе щуку. Впившись в нее зубами, проглотил кусок, другой, и вот уже от прекрасной килограммовой щуки остались жалкие остатки, одни чешуйки, серебряными монетками блестевшие в свете луны. Лис аккуратно облизал уголки пасти и вспомнил о Мяу, которую победил, но прикасаться к которой больше не хотел: на кошке оставил свой знак человек. Свой знак и запах.

Лис видел, как егерь раздумывал над кошкой, и даже когда тот ушел, сверкая своей страшной, издали убивающей палкой, долго еще не двигался с места. Из-за нее, этой палки, вскрикивая перекувыркивается на земле заяц, птица внезапно меняет изящную линию полета и камнем падает на землю. Лис страшно боялся егеря, но не упускал случая поживиться за его счет: после того как гремел вы-

отряд и рассеивался дым, он тщательно осматривал местность вокруг и обычно находил раненого зайца или подбитую крикву.

Но к кошке он не притронулся. Хотя Мяс лежала не шевелись, что-то страшное прикрывало ее, предупреждая: «Не прикасайся!» От носового платка егеря разлило табачным, человеческим духом, и лис, увидев его, содрогнулся от ужаса. Шерсть у него взъерошилась, и он, напружинившись, отиринул назад, как лошадь, которую кучер дернул за поводья.

Отойди от Мяс на безопасное расстояние, Карак лег и долго еще наблюдал, но поскольку ничего подозрительного не происходило, поплелся прочь.

Потом он нашел щуку, которой немного утолил голод, и теперь лежал, прислушиваясь. Луна уже поднялась высоко, река тихо текла в своем русле, над лугом — туманная, холодная тишина, из деревни изредка доносилось сонное тьяканье собак, и петухи возвещали, что минула полночь.

Подняв пострадавшую в драке голову, лис пошел к деревне.

Лутра в это время был уже далеко. По дороге он успел осмотреть свое летнее жилище, — ведь у выдры обычно две квартиры. Чаще Лутра пользовался норой, но если забредал далеко, то перед наступлением рассвета прятался в дупло старой ивы, куда пробраться можно было только с воды. И это жилище было устлано травой, мхом, и он прекрасно в нем отдыхал, хотя в стволе дерева какой-то дятел, ища червяков, выдолбил небольшое, размером с карманные часы, отверстие. Отверстие это Лутре пригодилось: не пришлось прокапывать под землей отдушины, но слишком много звуков проникало снаружи. Иногда синицы просовывали в него свои косматые головы и озабоченно моргали в темноте.

— Цинн-цинн, чере-чере, кто тут?

Лутра, быть может, и схватил бы птичку, но отверстие было так высоко, что он не мог до него дотянуться.

На вопрос любопытной синицы, он даже не открывал глаз, но однажды, когда после короткого разговора в дыре показался ивовый прутик и, вращаясь, проскользнул по стенке дупла, Лутра, конечно, вскочил на ноги.

— Ты ничего не заметил? — спросил детский голосок.

— Ничего. Абсолютно ничего.

— Значит там пусто. А я знаю одно сорочье гнездо.

— Ты вечно все знаешь.

— Но он может и соврать, — произнес третий голос.

— Наподдать тебе, что ли?

Лутра стоял, приготовившись к бегству, но ивовый прутик выдернули из дупла.

— Где твое сорочье гнездо? Смотри, если обманываешь, отстегаю тебя этим прутом.

Ребята ушли, а Лутра растянулся опять на травянистой подушке, но потом несколько дней не приближался к этому жилищу.

И сейчас он чуть было не проплыл мимо него, но вдруг, точно вспомнив что-то, повернул назад и вынырнул возле старой ивы, но тут же отдернул голову: из дупла неслась ужасная вонь, а через верхнее отверстие кто-то высочил. Лутра тут же выбросил свое гибкое тело из воды, но хорька поймать не успел. У большой выдры засверкали глаза, она зашипела от злости. И с отвращением принюхалась, — ведь напуганный зверек окатил выделениями из своей железы стенку дупла, а запах их невыносим как для животных, так и для людей. Это последнее оружие хорька, перед ним отступает даже самая смелая собака, а хорьку довольно и минутной передышки, чтобы спастись бегством.

Лутра тоже не мог долго выдержать вони. Он фыркнул и, еще раз оглядевшись, опять погрузился в воду. Он понял, что лучше некоторое время сюда не приходить. Не из-за хорька, тот сейчас уже ищет себе новое пристанище, а просто надо подождать, пока высохнут обглоданные кости и падаль, которые зверек натащил в дупло. А там лежали крысиная и лягушачья голова, птичья лапа, яичная скорлупа, ползмей и рыбий хребет. Хорек тоже был отменным охотником

и в воде, и на суше. Лутра его ненавидел и с удовольствием прикончил бы, но тот был осторожен, и их пути редко пересекались.

Лутра поплыл вверх по реке; он то и дело окунал морду в воду и стал смотреть по сторонам, только когда отвратительный запах окончательно выветрился из его носа. Сначала голова его целиком выступала из воды, потом он опустил ее, так что наружу торчали только глаза и нос. Вдруг он остановился, заметив что-то странное. Будь он человеком, он бы сейчас сказал:

— Что делает цапля ночью на берегу? Она, наверно, больная. Может, удастся ее поймать.

И хотя Лутра ничего не сказал, он знал это не хуже человека. Поэтому он нырнул и очень медленно поплыл к цапле, которая неизвестно почему оказалась так поздно на необычном месте, — ведь цапли ночуют на дереве. Как бы то ни было, Лутра уже давно забыл о съеденной щуке, и если поблизости стоит легкомысленная цапля, не мешает слегка ее поугаать. Стоит ли говорить, что такие «шутки» выдры были обыкновенно очень дерзкими и губительными для других.

Берег поднимался полого, и Лутра тенью полз по мелководью. Глаза у цапли сверкали холодно, как у змеи, и даже Лутра не мог понять, куда она смотрит.

«Легкая добыча», — оттолкнувшись ото дна, подумал Лутра, но тут цапля клюнула его в голову, да так, что он, изогнувшись от боли, упал в воду. А птица взвилась в воздух.

Длинный клюв цапли словно гарпун, и движения ее так быстры, что почти незаметны. В глаз Лутре она не попала, но лоб болел сильно. Он опустился на дно реки, — там вода прохладней и быстрее успокаивает боль.

«Легкая добыча» улетела, и выдра скрежетала зубами от ярости. Чуть погодя, чтобы сделать вдох, она вынырнула на поверхность и направилась туда, где плескалась вода. Плеск был довольно сильный, и Лутра потому был осторожным. Сначала он опустился на дно, потом снизу напал на

карпа, который сдался не так легко, как щука. Он попытался потащить за собой противника, бился из последних сил, но выдра так ожесточенно на него наступала, точно перед ней была цапля, и всю свою ярость излила в битве. Карп в конце концов сдался, больше ничего ему не оставалось.

Лутра выволок его на берег и, забыв о своей недавней неудаче, прекрасно поел, — ведь давно уже минула полночь, время его обеда.

Рыба оказалась большая, и он не смог ее съесть всю. Живот у него надулся, как барабан, и мысль о норе приятно его убаюкивала. В деревне уже в третий раз призвали рассвет петухи, когда выдра встала на задние лапы и прислушалась.

Все ближе и ближе раздавались удары весел и приглушенные голоса людей.

Лутра посмотрел на карпа, но уже без всякого интереса. Он понюхал его напоследок, а потом ловко спустился к реке и бесшумно нырнул в воду.

К этому времени луна была уже в западной части небосклона и на востоке стало светать. Тени стусеивались, туман осел. По воде медленно скользили две лодки.

— Миклош там будет? — спросил кто-то.

— Он обещал.

— Значит, там и будет. Его слово твердое. Если он говорит, что видел, как разбойничает сом, значит и в самом деле видел.

— Только бы Миклош разделался с этой проклятой выдрой.

— Он давно уже ее выслеживает.

— Охотники и рыбаки — дармоеды и чудачки... Правь к берегу. Вроде это Миклош нам знак подает.

Возле большого тополя раздавался тихий посвист.

— Это он!

Нос лодки нацелился на большое дерево, и егеря спустился по откосу к воде.



— Садись, Миклош, в лодку. Ну, как дела?

— Доброе утро. Я опять видел, как разбойничает сом. Стервец этот, наверно, огромный.

— Ежели он весит больше тридцати килограммов, лишек я съем.

Лодка отплыла, и старый рыбак передал егерю небольшую бутылку:

— Приложись-ка, Миклош.

Отпив немного, егерь вернул бутылку.

— Всю ночь выдра у меня из головы не выходит. Ночи-то уж прохладные.

— Дать еще?

— Нет. Если только сом станет бить по берегу своим хвостом, тогда выпью.

Потом они замолчали. Гребли бесшумно, думая о большом соме, загадочном разбойнике, который в это время отдыхает в яме под одним из берегов и, наверно, слышит плеск весел.

Когда обе лодки причалили к месту стоянки, уже показался красный диск солнца. Рыбаки вылезли на берег, привязали лодку. Достали все необходимое, и двое из них, те, что помоложе, разложили костер. Это место было давно им знакомо. Тут хорошо ловилась рыба и можно было удобно расположиться. Котелок еще стоял на земле, но дым над костром уже развеялся, и мужчины подошли к огню.

— Кто хочет, может еще чуток выпить, — вынув трубку изо рта, предложил старик.

Никто не отозвался. Рыбаки смотрели на реку.

— Ваша правда. Что делать надо, все знают... — промолвил Миклош.

— Пошли!

— Янчи, сегодня ты будешь стоять на берегу.

— Я уже держу пятной конец.

Старый невод лежал в лодке, казалось, беспорядочной кучей, но на самом деле был набран как положено. В длину он был сто, в ширину — три-шесть метров. У такой сети

нижнюю веревку, подбору, оттягивают ко дну разные грузила: свинец, кости, камни, а верхнюю подбору удерживают на воде поплавки. Пятной конец остается на берегу, а другой, завозной, выступает из воды только когда невод уже выметан поперек реки и лодка возвращается обратно к берегу. Тогда начинают выбирать сеть из воды, и для рыбаков наступает самый напряженный момент.

— Ну, приступайте.

Янчи перекинул через плечо пятной конец, лодка поплыла, и сеть, шелестя, стала погружаться в воду.

Никто не промолвил ни слова.

Лодка не спеша шла по реке, и ее путь отмечали покачивающиеся глазки поплавков.

Старый рыбак, глядя на воду, кивнул головой.

— Если что-нибудь есть тут, от нас не уйдет.

Повернув обратно, лодка пошла к берегу. Невод стал замыкаться.

— Ну, ребята!

Свинец и камни волочились по дну, а поплавки колыхались на поверхности.

— Выбирайте!

Сеть постепенно сужалась, и из нее выскочило несколько хитрых карпов.

— Сбежали, проклятые!

Невод вдруг натянулся, и на одном его участке заплясали поплавки. Туда и смотрел старый рыбак.

— Чуется мне, попалось что-то, — сказал другой.

— Вижу. Тащи-ка.

Тут натянутая сеть так дернулась, что один из рыбаков, не удержавшись на ногах, упал лицом в воду.

— Скорей ко мне, — прохрипел Янчи. — Миклош, брось ружье.

— Поймали, ну как, поймали? — волновался егерь.

— Не разговаривай, тащи!

Сомкнувшись полукругом, невод приближался к берегу, и вода точно кипела от обилия рыбы, но что-то то здесь, то

там так сильно дергало за подбору, что люди пошатывались.

— Багор! — крикнул кто-то.

Один из рыбаков прыгнул в лодку, снял сапоги и достал багор.

— Погоди, Анти, пока ей еще меньше места будет, — махнул рукой старый рыбак. — Эта громадина, как я вижу, еще опрокинет. . .

— Меня. . .

— Тсс. . .

— Не упусти ее, не упусти, черт побери!

— Не ори, Миклош, мне в ухо, это тебе не охота!

— Попробуй ты, Анти, — обратился старик к тощему парню.

Парень осторожно зашел в неглубокую воду. В руке у него был багор с чуть ли не полутораметровым багровищем. Когда вода дошла ему до бедер, он показал рукой, что видит, мол, рыбу. И тут же стал ее багрить, но тут его толкнуло так сильно, что он чуть не перекувырнулся.

— Больно здоровая, — он выплюнул воду и стал ловить багровище, которое всплывало то тут, то там.

— Осторожно! Очень большая. . . Тихонько, тихонько. . .

Емкость невода теперь была уже не больше маленького дворика, и вода в нем так и бушевала. Анти уже три раза падал плашмя, но даже не чувствует холода. Скрежеща зубами, он в четвертый раз хватает багровище, и на лбу у него вздуваются жилы. Старик видит, что рыба устала, в глазах у него улыбка.

— Ты уже, знать, накупался, Анти?

Парень, исполненный счастья борьбы, крепко держит багор.

— Тьфу, пропасть! — и он с трудом тянет невод к берегу.

В воде извивается какая-то большая рыба. Бьет хвостом так, что все уже насквозь промокли от брызг.

— Теперь она от нас не уйдет.

Наконец показывается огромная сомя голова, и трубка

падает изо рта старика. Все смотрят, как парень тащит к берегу трехметровую рыбу. Сом все еще не сдается и, борясь не на жизнь, а на смерть, ударяет хвостом по ноге старого рыбака, как шар по кегле.

— Черт побери твою рыбу! — бурчит старик. — Черт побери твою рыбу, хотя я бы не возражал, если бы каждый день она мне поддавала. Ну, кто съест то, что сверх тридцати килограммов?

Возбужденный егерь топчется возле сома.

— Ну как же, я ведь говорил, я ведь говорил... В нем будет и центнер!

Солнце уже поднялось из-за деревьев. В сети кишмя кишат серебристые рыбки, кто-то из рыбаков посвистывает от удовольствия: уж больно хорошее утро; над рекой каркают вороны, и пламя взвивается к котелку.

Прекрасное утро! Нежное золото солнечных лучей начинает пригревать, и пламя, лижущее котелок, растворяется в этом сиянии. Потрескивает огонь, и Тэч, любопытная сорока, встревоженно стрекочет на верхушке тополя — ведь дым сулит ей еду, которой, к сожалению, надо еще дожидаться. Надо дожидаться, пока уйдут люди, погаснет огонь, и лишь тогда можно будет обследовать стоянку, где останутся обглоданные кости, рыбы головы и хлебные корки. А может быть, возле берега барахтаются раненые рыбешки, которых рыбаки называют «мусорными» и даже «рыбамусорниками»; первых за малоценность, но они хоть не причиняют вреда, а вторые — вредные: они уничтожают икру и мальков благородных рыб.

— Пристрели эту сороку, — попросили рыбаки егеря, — а то еще гостя накличет.

У людей есть примета: сорока стрекочет — гостя кличет. Это знают все, кроме нее самой. Сорока же просто-напросто очень голодна, а Миклош и не смотрит в ее сторону, по голосу знает, что она далеко.

— Я ее пристрелю, если притащите мне пушку.

Теперь почти весь невод уже на берегу, только матня

в мелководе, и в ней полно рыбы. Рыбаки выбирают крупную, ту, что не подойдет в садке.

Судак и нежный подлещик погибли в тесноте, поэтому их сразу кладут в корзину.

Оставшаяся рыба еще плещется в воде.

Люди довольны, — от них веет миром и покоем, а от лука, румянящегося в котелке, исходит приятный запах.

Лутра еще до появления рыбаков вернулся домой. В туннеле он слегка отряхнулся, и капельки воды полетели с его шкуры, как песчинки с берега. Он приюхался, сморщив нос, — ранка, нанесенная цаплей, ныла — потом дополз до своей постели. Глубоко втянул воздух — это могло бы сойти и за вздох, — облизал лапы и, поерзав, закрыл глаза, но тщетно: от боли он не мог даже задремать.

Между тем рыбацьи лодки проплыли мимо норы; тогда огромный сом еще не знал, что разрезанный на куски попадет сегодня на базар. И, конечно, не как гроза вод, страшилище, что ловит килограммового карпа, точно ласточка — муху, а как добыча и гордость рыбаков.

Едва в зеленоватом водяном окне улеглось небольшое волнение, поднятое лодками, как там отразилась новая, далекая и необычная игра волн. А через другой вход в нору проникли крики людей и стрекот сороки. В криках людей звучало возбуждение, а в сорочьем стрекоте — тоска и голод.

— Сколько р-р-рыбы, сколько р-р-рыбы! — трещала сорока, и тут же возле нее сели две серые вороны и внимательно посмотрели по сторонам.

— Кар-кар, сюда нельзя!

Потом им уже больше ничего не оставалось, как сидеть и каркать при виде большой рыбы, поблескивающей в сети.

— Ах, какая большая, и ее все р-р-равно схватили, поймали, кар-кар!

Лутра понял: что-то там происходит, но в этом шуме не было ничего опасного. Он долетал с одного и того же места,

не приближался, и выдра могла бы преспокойно спать, настроив на самую большую степень удивительный аппарат своих чувств, если бы не ранка, которая вдобавок еще запульсировала. И поэтому Лутра лишь притворялся спящим.

Водяное окошко постепенно просветлело, и в норе забрезжил зеленоватый сумрак. Речные испарения принесли ароматы и рассеянный свет осеннего утра, а через задний вход проникли уже утомленные голоса; совершенный слух выдры улавливал точно, где и что происходит.

Некоторое время из камышей долетал громкий шум, в котором принимали участие и цапли, но самыми крикливыми были вороны и сойка. Сойка Матяш визжала так, точно с нее сдирали кожу.

— Он тащит Мяу, он тащит Мяу, прячется тут, прячется, клюньте его в голову, отнимите у него Мяу!

Сойка верещала сидя на иве, она убеждала возмущенный пернатый народ напасть на лиса Карака, но сама не трогалась с места, — ведь смелости в ней было значительно меньше, чем наглости.

— Вижу, вижу, кар-р-р, кар-р-р, — скорбно, как и соответствовало его черному оперению, каркал старый грач.

Грачи — птицы полезные, закон запрещает их истреблять, похоже каркающие серые вороны — вредные, и их можно уничтожать. Все они едят мясо, но вороны и охотятся за ним, они хищницы и уничтожают множество маленьких полезных птичек. Вред этот они отчасти искупают тем, что нападают на народ Цин, убивают мышей и сусликов, но это делают и грачи.

Серая ворона — существо упрямое. Голос у нее трескучий, как у трубы; ее тотчас замечает лисица, и тогда вороне приходится прятаться в свое летнее убежище среди густых ракитовых кустов.

Торо, грач, лишь сидел и ныл на сухой ветке, но Ра, серая ворона, сразу же отреагировала на подстрекательство

сойки: так` клюнула Карака, что тот, испугавшись, распластался на земле среди камышей.

— Подлый вор, — пусть ветер разметет твои перья! — Глаза у Карака сверкнули, и он поспешно спрятался в камышах, прежде чем Ра успела поднять на ноги всех окрестных птиц и зверей, а быть может, даже привлечь внимание егеря, что грозило уже серьезной опасностью.

— Он тут, он тут! — трещала ворона. — Унес Мяу и теперь пожир-р-рает ее, пожир-р-рает.

Но лис исчез, и все вокруг постепенно затихло.

Для Карака ночь эта была полна приключений. Все началось с того, что кошка залепила ему оплеуху, да так, что кровь залила его хитрую морду. Правда, он одолел Мяу, но явился егерь и оставил свою отметину на лисьей добыче, оповещая, что кошка принадлежит ему. Пришлось разъяренному Караку скромно поужинать щучкой, не доеденной Лутрой, но ее ему было всего на один зуб, и голод погнал его в деревню, где возле птичников отважному лису при должном усердии всегда что-нибудь да перепадает.

А Карак был отважный, — ведь его пустой желудок раздражали раскаленные когти голода. Он был отважным, но не легкомысленным, и особенно соблюдал осторожность там, где не лаял пес, подлый Вахур, продавшийся человеку. Откуда знать, не притаился ли он, сторожа в саду или курятнике.

Прокравшись к околице, Карак определил, где лают собаки и в каком состоянии изгороди. Он предпочитал больших собак с громкими сытыми голосами; они обычно не умеют быстро бегать, только лаем пытаются запугать, и боялся поджарых длинноногих псов, проворных, вечно голодных и почти одичавших. Карак ненавидел проволочные заграждения и охотно пробирался через узкие щели в плетнях из подсолнечных стеблей, через которые только лиса может кое-как протиснуться, а крупная собака обычно в них застревает.

В конце одного забора Карак почуял такой сильный и теплый куриный дух, что его пустой желудок взбунто-



вался. После недолгого раздумья он пробрался в сад и уже направился к курятнику, как вдруг с ужасом обнаружил присутствие соседской собаки, которая вполне могла напасть на его след.

Собака задумала что-то недоброе и не желала встретиться со здешней овчаркой, но, почувствовав запах лиса, забыла, что без спроса проникла в чужие владения.

— Гав-гав, гав-гав! Тут он шел, тут он шел! — с лаем побежала она по лисьему следу прямо навстречу большой овчарке, сторожившей дом.

— Лис... лис, — оправдывалась незваная гостья, но овчарка от негодования ничего не видела и не слышала, и пока обе собаки дрались, Карак успел домчаться до луга. Он спасся от собаки, но голоден был ужасно.

Полночь минула. На западе перед луной проплывало по небу туманное облачко, и лис вспоминал о соревнующихся в пении деревенских петухах с еще большей тоской, чем озябший путник — о теплом доме. Инея еще не было, но когда Карак пробирался через поникшую траву, капли холодной росы обдавали ему морду. Они уменьшали боль от глубоких царапин, оставленных покойницей Мяу на память и в назидание: у лиса пока что не было ни малейшей охоты вступать в схватку с кошками.

На большом лугу царила мертвая тишина, и воздух был недвижим, словно там вымерла всякая жизнь и исчезла пища, способная удовлетворить жестокие требования голода. Вот если бы вернулась весна! А в эту пору уже нет гнездящихся на земле птиц, простодушных лягушек, гнезд с яйцами, дававших прекрасный легкий завтрак, но весна и лето прошли, и в потертой сумке осени остались лишь воспоминания, которыми может, наверно, жить поэт-романтик, но не голодный лис с ободранной мордой.

Карак вышел на берег реки и огляделся. На востоке возвышались пологие склоны холмов, на западе луна уходила за край небосклона. Сейчас тьма была гуще, чем ночью. Река молча извивалась под высоким берегом. Вдруг в нос лису ударил приятный, теплый запах. Карак застыл

на месте, как обычно перед всякой рискованной затеей, но потом, гонимый голодом, доверившись мраку, стал спускаться по крутому берегу к подземному жилищу диких пчел. Входом в него служило маленькое отверстие, через которое распространялся аромат воска и меда, а внутри, в своем тайнике, тихо-тихо жужжали пчелы. Карак осторожно подполз туда и принялся расширять вход.

— Кш! — отдернул он лапу, которую успела уже ужалить одна из пчел, что окончательно лишило осторожности голодного лиса.

Тут все решает быстрота! Сломав тонкую стенку, он ринулся в бой и, — хотя не сказал «жизнь или смерть», — размахивая задней лапой в воздухе, засунул внутрь морду и схватил большой кусок сотов с медом. Если бы кто-нибудь увидел, как дергается и вертится Карак, то подумал бы: «Он, видно, веселится вовсю...», хотя о веселье не было и речи. Лиса уже трижды ужалили в его чувствительный нос, и одна возмущенная пчела, нацеливаясь своим жалом, кружилась у него в ухе.

— Кш-ш-ш, ой-ой! — подтвердил Карак, что его ужалили также в ухо, и подпрыгнул, как на пружинах.

Он покатался по земле, пометался из стороны в сторону и, тряся головой и размахивая хвостом, но не выпуская из пасти чудесные по вкусу соты, побежал в заросли росистых трав.

Пчелы с жужжанием растерянно кружились во мраке, но аромат меда навел их на след лиса, с жадностью пожиравшего свою добычу, и тогда Карак снова превратился в плясуна. Танец его, весьма своеобразный, напоминал скорей утреннюю зарядку, но ничего веселого в нем не было. Расправившись с сотами, Карак понесся, как безумный, стряхивая со своей мокрой шубы последних шипящих пчел. Когда он остался наконец в одиночестве, то окончательно забыл о голоде; на носу у него красовался след от пчелиных жал, а на губах три больших, с орех величинной, волдыря. От голода он теперь уже не страдал, но тем

сильней болели укусы. Неизвестно, сколько пчел съел он вместе с медом, но они вряд ли успели его ужалить.

Карак направился домой, невольно выбрав путь, проходивший возле Мяу. Он глотал слюну — мясо все-таки остается мясом — и, хотя не знал, но чувствовал, что он, как сказано в книгах по естествознанию, животное плотоядное.

И упорство его в эту злосчастную ночь в конце концов было вознаграждено.

Перед ним по тропинке брела какая-то старушка. На голове у нее была корзина, в руке тоже корзина, полная яблок, предназначенных для продажи на утреннем базаре, в которой сверху, как повелось, для привлечения покупателей лежали самые красивые, румяные плоды. Старушка заканчивала арифметические подсчеты — разумеется, устные, — что она купит на деньги, вырученные за яблоки, и была, как видно, целиком поглощена этим занятием. Но вдруг, заметив что-то белое, замедлила шаг:

«Что это такое?»

И остановилась на минутку — ведь бес любопытства уже вцепился ей в юбку.

«Надо поглядеть. Уж не письмо ли? Что мне стоит. Погляжу-ка! — Она шагнула в росистую траву и громко чихнула. — Не простудиться бы. . . Апчхи! Дохлая кошка, вот оно что! И носовой платок».

«Табаком пахнет. . . А так ничего себе, хороший», — она снова чихнула и высморкалась в найденный платок.

Поэтому лис нашел Мяу уже без всяких устрашающих отметин человека и, выждав немного, схватил ее. Но к этому времени уже стало светло, и рано встающая сойка Матяш возвестила луговой народ, что Карак несет кошку и надо эту кошку у него отнять.

Однако все это уже позади. Сейчас под кустами тихо; синицы разлетелись в разные стороны; серая ворона Ра и грач Торо трудятся на пашне, а сойка полетела посмотреть, отчего расшумелась сорока Тэч. Лес закрывал берег реки,

ей ничего не было видно, но короткий звук выстрела заставил ее изменить направление полета.

Сорока замолчала, а сойка, тихо опустившись на старый тополь, издавна служивший сторожевой вышкой, выжидала, что последует за выстрелом. Но ничего не последовало.

Заслышав щелканье ружья, Лутра поднял голову, Карак прервал завтрак, на мгновение на поля опустилась настояренная тишина, и над рекой, со свистом разрезая крыльями воздух, пронеслись два чирка-свистунка.

— Промохнулся, Миклош! — сказал кто-то возле костра.

— Во вторую попал, перья полетели...

— Полететь-то полетели, но... — ехидно заметил первый голос, однако в нем не было серьезного упрека, и все засмеялись.

От котелка исходил такой приятный аромат, что даже судебный исполнитель настроился бы на миролюбивый лад, не говоря о рыбаках, и без того склонных к дружелюбию. Анти Гергей, переодевшись в сухое, внимательно прислушивался к бурлению рыбной ухи.

Лодка увезла в садке улов, чтобы успели доставить его на базар. Чуть осмотрительней снова застрекотала сорока, оповещающая о случившемся мельника, против чего уже никто из рыбаков не возражал, — ведь из рук в руки переходила вместительная оплетенная бутылка.

— Раздай, Янчи, миски и ложки, — сказал старик.

Затем наступило молчание. Лишь тихо позвякивали ложки, даже сорока на дереве умолкла. Поварешка осторожно, чтобы не раскрошить рыбу, зачерпывала розоватую уху; сначала полные миски получили гости, и наконец Анти с большой ложкой в руке уселся возле котелка, как актер, ожидающий аплодисментов после эффектной сцены.

— Вкусно, — сказал старый рыбак. — Мне уха нравится.

— Ты молодец, Анти, — кивнул мельник, — лучше и не сварить.

— А тебе, Миклош, не нравится?

Егерь лишь отмахнулся, — он не успел прожевать, и жест его означал: кто ест рыбу, тому не до разговоров.

— Ну, тогда я и себе налью, — сказал Анти, удовлетворенно глядя и в прошлое и в будущее, — ведь когда-нибудь, наверно, вспомнят несравненную уху Антала Гергея, не говоря уж о его схватке с огромным сомом.

Солнце уже поднялось высоко, и в его сиянии было больше света, чем тепла. Но тепло это приятно ласкало и, неся с собой разные ароматы и звуки, плеск-болтовню реки, одевало в золото чудесного осеннего утра внутренний и внешний мир рыбаков. Мир, включавший в себя готовящийся уснуть лес, поле в тумане, летающие в вышине паутинки, карканье сытых ворон, запах хлеба и свежевспаханной земли, горький аромат опавших листьев, голубоватый шелк дыма от костра, далекое грохотанье телеги и стук об нее бочки, пришедшую из лета, но уже переходящую в зиму мягкую венгерскую осень.

Жаждающие поживы вороны теперь могли бы слететься к костру, егерь даже не притронулся бы к ружью; рыба могла бы возле берега всплыть на поверхность, рыбаки и не вспомнили бы о неводе, а мельник не услышал бы шум вращающегося вхолостую колеса, ибо это был час раздумий и мечтаний, час осеннего хмеля.

Прибрежный лес молча прислушивался к разным звукам, река разметалась на своем ложе, трубки рыбаков погасли, где-то на дальней колокольне хрипло забили часы.

— Ну-ка, ребята, давайте собирать имущество, — тяжело поднялся с места старый рыбак.

Над полями рассеялся туман; от нагретого полуденным солнцем воздуха испарения поднялись так высоко, что превратились в серебристых барашков, у которых шерсть заменяли кристаллики льда. Вверху было очень холодно: там разреженный воздух и нечему нагреваться. Но внизу, над пашней, курился теплый пар, и сеялки ползли по взрыхленной земле, усердно высыпая семена — хлеб будущего года.

В жирно блестящих бороздах молча и важно расхаживали грачи и вороны.

Они, верно, считают, что люди специально для них разрывают землю, чтобы кормить их мышами и разрезанными плугом червями.

Вредители-мыши никогда не переводятся, ведь пара мышей при благоприятных обстоятельствах за одно лето приносит многочисленное потомство, около двухсот мышат, которые изрешечивают землю и сгрызают все, что только можно грызть. Особенно плодовиты эти грызуны в засушливое лето, когда не губит малышей затекающая в земляные отверстия дождевая вода. Молодые мыши уже в лето своего рождения начинают плодиться. Четыре-пять раз приносит самка по шесть-восемь детенышей, к осени у нее уже масса внуков. И тогда вороны, нагуляв брюшко, видимо, по своему вороньему радио передают весть в отдаленные края, и через несколько дней на кишачих мышами полях появляются новые вороньи стаи и спасают посевы — корм для животных и хлеб для людей. Такое «радио» есть у всех птиц — разумеется, с принимающей и передающей станцией, — прилетают и канюки, и пустельги, один-два сокола, в уничтожении мышей участвуют даже цапли, присоединяющиеся к красноному роду аистов.

В это время поле — сплошь движение. Аисты и цапли шагают неторопливо, останавливаются, быстрым ударом клюва убивают мышью или суслика, не интересуясь, кто это, дед или внук. К вечеру они даже зоб до отказа набивают, если только вечер застает их на поле и они не получают днем тайную весть, что им следует отправиться на юг, так как на севере уже собираются зимние тучи и свистит ледяной кнут ветра.

Канюков и пустельг подобного рода вести не интересуют. В их календаре отлет намечен на более поздний срок, — они спокойно кружат над полями. Свою добычу они не заглатывают сразу, а взлетают на сухой сук, верхушку стога или межевой камень и неторопливо едят, обводя глазами окрестность. В это время года полезны все птицы, уничто-

жающие мышей, не только канюки и пустельги, аисты и грачи, но даже серая цапля и серая ворона. А потому этих даровых работников надо охранять: ведь их повсюду подстерегает самый страшный в мире бич — невежество.

— Кар-кар, — вздыхали вороны, которых истребляли с помощью ружей, яда, ловушек и силков, пока ученые не сказали: «Хватит!» Но и наука потребовала больших жертв: тысячи грачей, канюков, пустельг пришлось погубить, вспороть им живот, чтобы подготовить убедительные доклады, пока, наконец, на их основе и закон не сказал: «Хватит!» Теперь уже канюки, грачи, пустельги могут трудиться спокойно, но они уже не доверяют человеку.

День потихоньку клонился к вечеру.

В низинах полей снова появился туман, и постепенно редееет птичье царство. То одна, то другая стая ворон, взмыв, садится на старый тополь, на котором серые вороны ведут вечернюю беседу, переходящую обычно в ссору, пока туда не залетит случайно канюк или пустельга. Тогда они набрасываются на незваных гостей, которым тоже хочется отдохнуть на старом тополе. Но серые вороны их не пускают. Такой уж это злой, неуживчивый народ. Они нападают на всех птиц подряд, задирают их, гонят прочь. Наглость их беспредельна. Если по соседству оказывается, скажем, обыкновенный сокол или балобан, серые вороны и на них нападают, большей частью эти благородные путники презрительно их сторонятся, но порой помогают некоторым серым воительницам отойти в иной мир, где они уже никогда не будут охотиться. А вообще-то вороны ведь должны быть признательны этим благородным разбойникам: те нередко оставляют им убитую добычу. Сокол не душит свою жертву, как ястреб, а заклевывает ее в воздухе, поражает, как пулей, и птица мертвой падает с неба на землю. Поэтому, если в небе появляется сокол, другие пернатые хищники устремляются на землю, где он не может на них напасть, — ведь он разобьется, снизившись на огромной скорости. Серые вороны и сороки вскоре забывают попав-

шую в беду сестру и, если сокол убивает кого-нибудь из их родичей, тут же слетаются, кружат вокруг, кричат, просят, даже требуют своей доли, пока великодушный чужак наконец не обведет их холодным своим взглядом.

— Ешьте, и пусть вас черт поберет! — и, взмахнув крыльями, он покидает шумное сборище, летит в поисках новой добычи.

В этих местах редко встречаются обыкновенный сокол или балобан; они появляются только во время осенних и весенних перелетов, когда осенью летят в теплые края или весной возвращаются на свои гнездовья, не разоренные человеком.

Но теперь в воздухе нет сокола, и вороны ссорятся только между собой, а может быть, пытаются оглушить черных грачей, кружащих над большим тополем.

— Ка-а-ар, ка-а-ак это вы смеее тут летать, это наше дерево, и не подумайте сесть на него.

Грачи не отвечают и, взмахнув крыльями, направляются к дальнему лесу, где их уже ждет знакомое вековое дерево.

На самой верхней ветке склонившегося к воде старого тополя сорока, вертя хвостом, оповещает каркающую под ней братию:

— Люди, люди. . .

— Кар, кар, — увидев лодку с возвращающимися домой рыбаками, говорят уже тихо серые вороны.

Весла, как птичьи крылья, бесшумно рассекают воду, и молодая ворона, которой хочется поглядеть на таинственных людей, летит к лодке.

— Кар-кар, на них надо напасть, выклевать им глаза!

Рыбаки перестают грести, а егерь бесшумно поднимает ружье.

— Трах, — выплевывает ружье дробь, и ворона, раскинув лапы, падает в воду.

— Кар-кар, разве я тебе не говорила? — визжит другая и мчится к воде поглядеть, что произошло с любопытной сестрой.

— Трах! — ухает опять выстрел, и вторая ворона падает как подкошенная.

— Знаешь, Миклош, — кивает ему Габор Чер, — теперь уж я верю, ты застрелишь и выдру.

— Застрелить не трудно, трудно ее выследить, — егерь извлекает стреляные гильзы. — Зимой, когда снег, дело другое, а вот теперь... да ночью... — И он лишь машет безнадежно рукой.

Гребцы повернули лодку и подобрали ворон, потом снова взялись за весла, и лодка плавно заскользила по воде.

Птицы уже покинули старый тополь. Вскоре Миклош неподалеку от тополя вылез на берег и принялся искать кошку, которая уже перекочевала в желудок лиса. Карак спит, да это и к лучшему, иначе бы он услышал крепкие слова егеря по поводу кошки и, главным образом, исчезнувшего носового платка. Ведь Миклош не знает, что эти проклятия надо адресовать двум вора́м, да, собственно, и не вора́м, ведь Мяу по праву принадлежит лису, а старушка просто-напросто платок нашла. Миклош с грустью смотрит вслед лодке. Теперь он уже никогда не узнает, при каких обстоятельствах погибла кошка, и бредет домой пешком, хотя мог бы доплыть на лодке. Но он знает: сегодня пусто, а завтра густо, и примиряется с потерей носового платка, хотя от холода у него течет нос.

Идет егерь, в сумке у него болтаются две вороны; мысленно он обшаривает весь берег, обрывы, наклонившиеся над водой деревья, поросшие камышом излучины, ломает голову, где же нора большой выдры? Может, возле мельницы? Нет, выдра избегает соседства с человеком. Или она переселилась куда-нибудь, и следы ее старые? Нет! Янчи вчера нашел свежую рыбу. Где же она прячется, где?

А Лутра после выстрелов успел уже успокоиться. О происшедшем он узнал по тому, что вороны упали в воду возле норы, да и сорока предупредила его, что по реке плывет лодка. Новость эта не особенно его встревожила, но при звуке первого выстрела он подпрыгнул. И тут же услышал,

как ворона шлепнулась в реку, потом раздалось жалобное карканье и второй выстрел, теперь уже совсем близкий. Лутра стал обнюхивать запасный выход, поскольку лодка, чтобы выловить из воды убитых птиц, повернула перед главным, и откуда было знать старой выдре, что на сей раз не ее шкура стоит на карте? Она понимала, что это дело нешуточное; шкурой она дорожила больше, чем Миклош брюками, ведь егерь и без брюк остается все тем же Миклошем Вашвари, а выдру без шкуры выдрой уже не назовешь.

Итак, Лутра внимательно смотрел в окно туннеля, которое передавало сигналы света и звука; но шум смолк, голоса отдалились, и плеск весел почти затих. И потому он опять лег на брюхо, ранка на морде заныла, и тогда ему померещилось, будто перед ним стоит цапля. Глубокий порез воспалился, и тяжелый дух гноя проник в запасной выход, где сидел настороже жук — мертвоед Зу.

Зу сразу приободрился.

— Ах, какой прекрасный аромат, — и влетел в теплый воздух норы. — Где-то здесь. Здесь должно быть. Поглядим-ка. . . — И он начал ползать по опавшим листьям, пока не попал в задний отнорок. — М-м-м. . . зум-м-м.

Он взлетел, а Лутра открыл глаза, словно спрашивая: «Как ты здесь оказался?»

Старая выдра не переносила присутствия посторонних в своем доме. Ни больших, ни маленьких. Она лежала не шевелясь, но насторожившись.

М-м-м. . . зум-м-м, замечательная рана, замечательная глубокая ранка, теперь я сделаю над ней круг. . .

Но жук сделал только полкруга: как только он подлетел к носу выдры, та расправилась с ним одним взмахом лапы, необычайно быстрым и точным. Этого уже не узнал Зу, и никто никогда, конечно, не узнает, — кому до этого дело?

В норе стало темно, однако Лутра прекрасно чувствовал себя во мраке; он широко раскрыл глаза и даже несколько расслабился, ведь он отличался прекрасным зрением, и его

единственный большой враг, человек, был по сравнению с ним просто слепым.

Но вот Лутра потянулся, а потянувшись, почувствовал, что голоден. Голод же рождал мечты о рыбе, лягушке или крякве, словом о какой-нибудь пище. От таких мыслей не сидится на месте, поэтому Лутра скатился вниз по гладко утопанному дну туннеля и, по привычке понюхав воду, нырнул. Уши он аккуратно закрыл, вернее, они инстинктивно закрываются сами так же, как человек инстинктивно делает вдох.

Вода была достаточно прозрачной, Лутра огляделся и, извиваясь всем телом, поднялся кверху и поплыл «посередке», так что и под ним, и над ним был слой воды примерно в человеческий рост. По дну кто-то ползает, не плывет, а ползает, хотя это и рыба, налим. Такой же ночной хищник, как выдра. Он отдыхал среди прибрежных камней, а теперь полуползает, полуплывет в поисках «хлеба насущного». Меню налима: водяные насекомые, личинки, червяки, головастики, рачки и, к сожалению, икра. Налим — очень вредная рыба, но этот уже больше не сможет причинить вреда. Лутра падает на него мягко, неслышно, как осенний лист с дерева на землю, и хватает почти не сопротивляющуюся жертву. Потом с налимом в пасти высовывает голову из воды, два глотка: была рыба и уже нет ее.

Вечер звездный, вокруг тишина, никаких подозрительных запахов; налим заглушил сосавший выдру голод, и поэтому Лутра никуда не торопится. Он ложится на воду и отдается во власть течения. Только рулит хвостом.

— Жизнь прекрасна, — сказал бы Лутра, будь он человеком.

Но он молчит и лишь чувствует, что жизнь прекрасна. Проста, как действие выключателя. Щелчок, — и комната озаряется светом, еще щелчок, — и свет сменяется тьмой. Какое-то шевеление в реке, и мышцы, как пружины, посылают выдру навстречу добыче; какой-то звук, и она скрывается под водой; предательский ветерок, и вниз головой она прыгает в реку, ни о чем не рассуждая, не понимая

сложные действия своего совершенного организма. Но не будем из-за этого бросать в Лутру камень, ведь миллионы людей щелкают выключателем, не имея понятия о сложном действии материалов и машин, вырабатывающих и передающих электрический ток, повышающих или понижающих его напряжение, о том, как электрический ток переходит в работу или свет. Щелчок выключателя — и загорается электричество или приходит в движение машина, а человек лишь смотрит, горит ли электричество, пришла ли в движение машина. Будто иначе и быть не может.

Течение несет Лутру, как корягу, но для человеческого глаза он невидим, и он чувствует это. На худой конец его может увидеть сова Ух, которая видела его и раньше; но она лишь бросила на него взгляд и понеслась дальше, легко, точно пушинками, взмахивая крыльями, как это умеют делать совы. Ух вела бы себя совершенно иначе, если бы по реке плыла серая крыса или водяная мышь. Тогда она сцапала бы ни о чем не подозревающую крысу или мышь, и был бы у нее обед, — ведь совы обедают ночью. Но напасть на большую выдру это все равно, что попытаться опрокинуть мчащийся на полной скорости локомотив. Во всяком случае, это самоубийство, а поскольку животные никогда не кончают жизнь самоубийством, Ух полетела к противоположному берегу, где сонно мурлыкала мельница, и ее большое колесо крутилось в воде так решительно, словно подгоняло реку. Сову влекли к мельнице приятные воспоминания: там, под старым полом, водилось много крыс, и всегда имело смысл именно там попытать счастья. Крыса грызет и умерщвляет все, что может. А если учесть вдобавок, что она плодовита почти так же, как мышь, то можно лишь с одобрением следить за полетом совы к мельнице, где она по одной вылавливает крыс между бревнами у шлюза и даже в водосточной трубе, — ведь попадаются крысы-альпинисты, любительницы больших высот. Но ловля эта не всегда безопасна: крыса кусается, пока есть сила, и сова должна ловко схватить ее, чтобы избежать



укуса. Но Ух ловка, с молодыми крысами она управляется запросто, лишь с крупными, голомордыми отцами семейства приходится быть осторожнее.

Эта сова относилась к семейству неясителей и особенно отличалась в истреблении мышей, но ловила и ласок, горностаев, даже хомяков. Иногда, правда, подхватывала и какую-нибудь пташку, спящую на дереве, но вообще, как и всякая сова, была птицей для человека полезной.

Она села на мельничную трубу так бесшумно, что ничье ухо — даже выдры! — этого не услышало бы. Ее мягкие перья не создают шума в воздухе, а лапы мягко, словно тень на воду, опускаются на край трубы. Она вертит большой косматой головой и, широко раскрыв глаза, внимательно изучает все вокруг. Сейчас она видит, как одна из кошек мельника идет по двору с мышью в зубах. Кошка скрывается где-то возле конюшни, и это к лучшему, Ух терпеть не может кошек, даже немного боится их, и вообще ей мешают, когда видят, как она охотится. Затем смотрит на окно, в светлом проеме которого движется, а потом исчезает то одна, то другая тень. Но это ее не волнует, как

и то, что по двору проходит человек, который ее не замечает.

У Ух совершенное зрение, а также слух. Плещется река, дует ветер, бормочет мельница, а ее ухо отбирает наиболее существенные звуки. И сейчас тоже. Словно мягко упало чье-то легкое тело, и Ух посмотрела туда, откуда донесся тихий шорох. На опоре мельничного колеса сидела большая крыса. Сова даже не пошевелинулась, ведь сидевшая напротив крыса была настороже. Ух не торопилась, но когда крыса повернулась, сова, словно легкая, невесомая вуаль, отделилась от трубы, подлетела к жертве, бесшумно снизилась и с высоты человеческого роста упала камнем на нее.

— Чи-чикр — кринь... — коротко сказала большая крыса, но Ух прервала ее прощальную речь.

Одной лапой она схватила крысу за спину, а другой, как плеткой, ударив по морде, потащила к трубе.

Забравшись на крышу, Ух пронзила крысу острым кричковым клювом, и на этом кончился поединок. Сова обедала в живописной обстановке. Внизу бурлила река, в глубине которой покачивались звездочки; в небе кричали перелетные птицы, приглашая родню присоединиться к ним: пора, мол, уже пора; рядом бормотала мельница, и от вращения жерновов точно легкая дрожь пробегала по лапам совы.

Ух была довольна, но не знала, что источник ее удовлетворения — желудок. Совиный организм по всем правилам биологии и химии разлагал на части крысиное мясо, посылал нужные вещества в кровь, мышцы, кости, глаза и удалял отработанные шлаки, которые белым пометом ложились на дранку крыши. Короче говоря, Ух переваривала съеденную крысу. Но переваривала не все, часть шерсти и костей проглоченной добычи в виде комочков собиралась в ее зобу, и она выплевывала их где попало, к большой радости ученых-орнитологов, которые определили по ним меню совы и до тех пор теребили людей менее ученых, пока те не вынесли наконец закон, охраняющий сов.

Тем временем взошла луна, и Ух со своего места ясно увидела голову Лутры с серебристым лещом в пасти. Она почувствовала, что и выдра ее видит, но это ничуть не смутило сову: они не враждовали, не мешали друг другу охотиться, поэтому она не обратила на выдру внимания.

То же самое почувствовал Лутра. Он заметил на трубе коренастую фигуру совы, но спокойно проглотил остаток леща вместе с чешуей. Потом, повернувшись на брюхо, поплыл медленней. На него смотрели, словно два воспаленных глаза, окна мельницы, крикали утки, и над водой разносился злой собачий лай, но Лутра не терял спокойствия, понимая, что это праздный, бессмысленный шум.

Вскоре лай стих, но за мельницей испуганно крикали утки. Выдра очень любила утятину, и у нее чуть слюнки не потекли. Но и утиный гомон не звучал криком об опасности, вряд ли его вызвал хорек или лисица. Он ровно ничего не значил. Ведь утки обычно спят на соломенной подстилке, прижавшись друг к дружке, и стоит одной из них вытянуть лапу, как начинается общая паника.

— Ай-ай, кря-кря, кто-то сюда идет. — Сонная утка, вскочив, принимается топтать других.

— Кря-кря, он уже тут... Ай-ай!

— И тут, и тут... нам конец!

Тьма полная; общая суматоха, они валят, топчут друг друга и лишь после долгой сумятицы наконец успокаиваются.

— Кря-кря, — кладет конец ночному переполоху важный голос старого селезня. — Ушел? — А поскольку никто не отвечает, прибавляет: — Да, ушел, давайте спать, тахтах. — И прячет голову под крыло.

Лутра свернул к берегу, где каменный барьер защищал плотину и приятно было сидеть на больших гладких камнях, поглядывая вокруг и подстерегая счастливый случай. Со стороны мельницы дул небольшой ветерок и среди прочих запахов приносил и желанный запах утки, от чего выдру еще больше тянуло к птичнику. Ее уши не улавливали тревожных звуков. То здесь, то там тьякали две

собаки. Кряканье уже стихло, и Лутра решил, что никто не опередил его, напав на уток, тревога была ложная. Луна уже поднялась над противоположным берегом, и ее желтая физиономия с ямочками на щеках, точно золотая тарелка, вместе со звездами колыхалась в зеркале реки.

Над водой плыл легкий туман, а за излучиной колебалось красное пламя, освещая темный силуэт мельницы. Лутра спокойно смотрел на пламя. Огонь этот был чужой, дальний и ничем ему не грозил. Но когда со скрипом растворилась дверь мельницы, он прижался к камням. На плотине у шлюза стоял мельник и прислушивался к тому, что происходило в деревне.

«Что может гореть?» — подумал мельник, и потом стало слышно, как он пошел на чердак. Ступеньки, брюзжа, вели его наверх, и когда открылось чердачное окошко, испуганная Ух метнулась в тень от противоположного берега. Лицо человека ярко осветил струящийся откуда-то издалека свет.

«Камыши! — пробормотал он. — Камыши! Сколько раз я говорил, чтобы запретили этим щенкам баловаться огнем. Там же сложен весь камыш, срезанный в этом году, да еще и прошлогодний. Это, конечно, он горит. Весь, видать, пропадет».

Мельник обвинял в поджоге ребят, думая, что они развели там костер. Поблизости от камыша на пашне мелькало несколько огоньков, и как знать, откуда занес первую искру ветер. Может быть, кто-нибудь бросил горящую спичку, и маленькая искорка долго тлела в гнилых камышах, пока не вспыхнула, найдя сухие стебли. Прочее уже дело времени и ветра. Дождя давно не было, и пламя пробегало по поникшим коричневым метелочкам, словно белка по выгнутой ветке. Отвоевав большое пространство, оно ликовало, порхало, плясало; постепенно робкое потрескивание огня перешло в громкое гудение, наполнившее тишину осенней ночи.

Сбежав вниз по лестнице, мельник остановил мельницу; заскрипел ключ, и раздался стук в окно.

— Мари, слышишь, вы спите, а я побегу на край поля. там камыш горит.

Женщина растворила окно.

— А лес не загорится?

— Да нет! В деревне примут меры. Камыш все равно уж пропал, а лес еще можно спасти. Я скоро вернусь.

— Спроси, почему торговали яйцами на базаре.

Мельник сердито передернул плечами.

— Ну конечно, только и дела мне сейчас, твои яйца, — и, отойдя от окна, он повернул к тропинке; следом двинулась его длинная колышущаяся тень.

Он не заметил, что за ним увязались две собаки, которые тоже почуяли какую-то опасность в этом свете среди ночи.

Казалось, на севере в неурочный час взошло солнце. Пламя охватило все заросли камышей, и его дымящиеся красные волны с шипением катились к реке.

Лутра не видел в этом ничего опасного. Человек ушел, и собаки ушли. Он ждал. Быть может, сам не знал, чего, но ждал и не обращал внимания на то, что маленькие лещики с необыкновенно громким плеском всплывали у берега на поверхность.

Но вот, точно ничего не видя и не слыша, появилась крыса, и на нее Лутра уже не мог не обратить внимания. Когда она отвернулась, он, ринувшись вперед, впился в нее своими острыми зубами. Но она так мерзко пахла, что он тут же выплюнул ее из пасти. Мало того, что крыса не относится к числу чисто плотных животных — она ведь живет в грязи и ест все подряд, — но эта была к тому же перепачкана дегтем. Недавно где-то разлили деготь — на мельнице или на корабле, — и теперь выдра чувствовала во рту его едкий запах. Она с отвращением потерлась носом о гладкий камень.

За лесом вздымался к небу страшный полыхающий огонь. Лутра застыл на месте: что-то не то, слишком много света.

Мельник шел быстрым шагом и заметил кравшихся за

ним собак, когда был уже далеко от дома. Он остановился и, подумав немного, махнул рукой.

— Вас-то никто не звал.

Собаки сели и скромно, преданно завиляли хвостами, ведь в голосе человека не прозвучало ни приказа следовать за ним, ни приказа вернуться назад.

— Ну, ладно, раз уж увязались за мной, то марш.

«Марш» — это уже другое дело! Они тут же поняли хозяина. Знакомое слово для собаки значит больше, чем для солдата — отпускное свидетельство, снабженное печатью. Они вскочили и помчались вперед, теперь уже сопровождая хозяина с полным правом. Иногда они останавливались, прислушиваясь к потрескиванию камыша в отдалении; чтобы немного приободриться, оглядывались назад, — ведь что и говорить, огня они боялись. Пылали уже все заросли камыша, а среди них виднелись большие темные пятна: там стояла вода или путь огню преградили густые кусты сырого раkitника. В полыхавшем на небе сиянии жалобно кричали дикие утки, и время от времени, когда пламя лизало их шпоры, верещали фазаны. То один, то другой опаленный заяц мчался к полю. А вот у Карака шуба осталась в целости и невредимости. Как только донеслось шипение огня, он тут же задал стрекача, хотя это и не входило в его планы. Морда лиса была изукрашена кошачьими когтями и зубами, ранки, царапины вспухли от укусов пчел, а один глаз затек. Лиса слегка знобило. Но это не помешало бы ему уснуть: ведь он всегда готов был поесть и поспать. Он еще не доел кошку, но запах дыма и шипение огня обратили его в бегство. Огонь трещал все громче, словно через камыши гнали стадо. Но это лис слышал уже сидя в лесу; он с удовольствием зализал бы свои раны, но не мог достать языком до носа. За мельником и собаками он следил с безопасного расстояния, потом свернулся клубком и, уткнувшись в шерсть носом, притворился спящим.

Из деревни прибежало несколько человек, у которых

прошлогодний камыш лежал еще ворохами, не убранный; они возмущались, но не в силах были помочь беде. У кого сгорело, у кого нет, они узнали бы и утром.

Наверху, на плотине, стоял егерь, ожидая, не прилетит ли с пожара какая-нибудь птица, и ругал собак:

— Не знаю, дядюшка Калман, зачем вы привели с собой этих кабысдохов.

— Когда я увидел, что они увязались за мной, уже поздно было гнать их обратно. Но они вовсе не кабысдохи.

— Это я просто так сказанул, — смягчился егерь. — Ведь в таком переполохе, быть может, удастся пристрелить какую-нибудь дичь.

— Тогда мы уйдем отсюда. Ко мне, — приказал мельник собакам, и они, спустившись с плотины, улеглись на берегу. — Ну, видишь, они совсем не глупые. Не помешают тебе охотиться... Лесу не грозит беда?

— Ветра нет, да и лес не густой. Ну, теперь лежать!

Миклош поднял ружье и выстрелил. Донесся шорох, и на землю шлепнулась дикая утка.

— Лежать! — гаркнул мельник на вскочивших было собак. — Зря я вас только что похвалил.

Обе собаки, поджав хвосты, поплелись назад, виновато поглядывая на хозяина:

— Мы думали, можно... Так громко бахнуло это... как его...

— Молодец, Миклош!

— Тс-с... — и ружье снова поднялось, но потом опустилось. — Больно далеко они... — указал егерь рукой на утиную стаю, пронесившуюся вдали в облаке пепла.

Потом снова раздался выстрел, и опять зашуршала падающая утка.

Миклош подобрал уток и положил их перед мельником.

— Отнесите их домой, дядюшка Калман. Передайте от меня Эсти.

Мельник задумался. Эсти восемнадцать лет, а Миклошу, верно, двадцать пять. Жалование у него небольшое, но человек он порядочный...

— Что ж, спасибо. Позову тебя, когда их жарить будем.

— Идите домой, дядюшка Калман. Нечего тут ждать. Ветра нет, что должно было сгореть, уже сгорело. Я все равно еще тут задержусь. Случись какое несчастье, я выстрелю два раза. Так я договорился в деревне. Но, думаю, ничего не случится.

В зарослях камыша уже лишь кое-где вспыхивало пламя, но тем больше дымились сырые кочки. Огонь, подымавшийся прежде к небу, уже притаился в земле, и снова засияла плутоватая физиономия луны, точно говоря:

— Огонек, хочешь со мной побороться?

Огонь не отвечал, шипел, метался, задыхаясь; пытался пробиться к кустам, но они были сырые, и наконец он совсем потух. Маленькие купы раkitника стояли плотной стеной. Крайние кусты слегка опалились, но в гущу их огонь не проник, и там прятались испуганные самки фазанов и несколько окончательно струсивших зайцев.

В это время Карак, верно, в двадцатый раз проснувшись, заволновался: в нос ему забился тяжелый запах дыма, от которого он тщетно пытался избавиться.

— Еще кто-то явился на мое горе.

Когда мельник с двумя собаками прошел мимо, по дороге домой, Карак совсем не испугался. В лесу стелилась по земле густая тьма, но кроны деревьев еще утопали в лунном сиянии, и бегающие по плотине собаки даже не подозревали о том, что два раскосых лисьих глаза следят за каждым их движением. Они рысцой неслись домой, но, вбежав во двор, стали с ворчанием приюхиваться, и мельник остановился пораженный: над птичником кружились в лунном свете белые утиные перья.

— Да что же это такое?

— Мари, Мари, ты спишь? — постучал он в окно.

— Ну, что там, спросил ты, почем яйца?

— Лучше ты скажи, закрыли вы птичник?

— Кирпичом дверцу прижали.

— Ну, тогда выйди, посмотри, сколько живых осталось.

К счастью, Лутра был не расположен совершать мас-

совое убийство; лишь одну утку схватил он за шею, и так как она тут же протянула ноги, он, вытащив ее из птичника, сразу же принялся терзать, желая поскорей полакомиться утятинной. Но затем, вдруг услышав какой-то шум, схватил покойницу и исчез в тени прибрежных кустов.

— . . . восемнадцать, девятнадцать . . . Посвети-ка лучше сюда! Двадцать, двадцать одна. Одну унесла лисица, чтоб ее огонь спалил! Ну и задам я Миклошу, совсем зверье распустил . . .

— Не может же Миклош всех лис выследить!

Это сказала Эстер, незамужняя дочка мельника; она и держала лампу.

«Эге, вот как обстоит дело», — подумал мельник.

Утки от непривычно яркого света испуганно мигали и жались к стене, — окруженные тремя людьми и двумя собаками, они не знали, куда деваться.

— Что случилось, то случилось, — сказал мельник и показал Эстер двух диких уток. — Вместо одной вот две. Миклош тебе посылает. Я обещал ему сказать, когда мы их жарить будем. Хорошие, жирные.

Наступило молчание. Девушка держала лампу так, что лицо ее оставалось в тени; мельничиха, подперев левой рукой голову, как бы взвешивала достоинства егеря.

— Ну, раз жирные, может, в воскресенье, — со вздохом проговорила она.

— Как хотите, — очень серьезно сказал мельник, и все трое почувствовали, что жизнь молодых выходит на прямую дорогу; лишь Миклош ничего не чувствовал, хотя в этот миг в какой-то мере решалась его судьба.

Мельничиха громко чихнула.

— . . . и одну из наших уток мы к воскресенью зарежем.

Так окончательно решилась судьба Миклоша, ведь не только выдра, но и егеря любил утятину.

Над рекой стоял туман, и в тумане плыла домой толсто-брюхая выдра. Это был Лутра, набивший уткой живот. Он съел ее, конечно, не целиком, но оставил немного

— лапы, крылья, — самые незавидные куски. Под конец, насытившись, он жевал лениво и, оглядывая место своей пирушки, думал, что некоторое время сюда лучше не приходить. Разбросанные перья были видны издалека, а его инстинктивно беспокоило все непривычное, будь то звук или какой-нибудь знак. Берег в том месте был каменистый, отпечатков его лап там не осталось, но он ведь не подозревал, что остатки утки, эти следы убийства, увеличат список преступлений лиса Карака, который в данном случае не был виноват и вдобавок страдал, мучась от боли, не зная, что предпринять, не решаясь идти домой, в дымящиеся камыши. Лутра обо всем этом понятия не имел. Умиротворенный, сытый, плыл он домой, наострив глаза и уши, — ведь только тяжело больной упустил бы он случай поохотиться.

А Лутра был здоров: вода уже промыла рану, нанесенную цаплей. И потому, когда он почуял возле другого берега какое-то шевеление, хвост, эта прекрасная лопасть весла, сразу туда его и направил. Нельзя сказать, чтобы он что-нибудь видел или слышал, но он чувствовал, что на дамбе шевелится что-то съедобное. И Лутра, как всегда, не ошибся. Там карпы готовили себе зимние квартиры. Ведь от холодной воды у них стынет кровь, пропадает аппетит, погибают ползающие, колышащиеся, едва видимые глазом маленькие животные, которыми преимущественно питаются карпы, поэтому рыбы эти готовились к зимней спячке. Дно в этом месте было илистое, с ямами. Ямка — постель, а ил — подушка и одеяло. Как только вода в реке остывает, дыхание и сердцебиение у карпов замедляются, и эта замедленная жизнь не требует ни движения, ни питания. Собравшись вместе, карпы ложатся и ждут зимы; едят уже редко и понемногу. Жабры у них едва шевелятся, рот, чтобы всосать из воды кислород, открывается лишь изредка, ведь пищи они почти не переваривают и в крови их нет шлаков, которые надо сжигать при помощи кислорода. Короче говоря, жизнь карпов в замедленном темпе скорей похожа на смерть. Но когда весной вода в реке согревается, согревается и их кровь;

они чувствуют голод, начинают плавать, искать пищу, малюсеньких животных, которые при наступлении весны пробуждаются к жизни и миллиардами предлагают себя рыбам.

Но время это еще не скоро наступит. А сейчас карпы лениво копошатся в воде, тупо глядя перед собой, словно нет на свете сетей, крючков и, главное, выдры.

Лутра молниеносно бросается на них. Он не долго выбирает, и вот уже с толстым карпом в пасти ползет по береговому откосу. Карп движениями хвоста показывает, что такое обращение ему совсем не по вкусу, и, когда выдра на секунду размыкает зубы, чтобы, вновь сомкнув их, положить конец его трепыханию, он ударяет ее с такой силой, что ранка на морде опять начинает кровоточить. Но на этом он прощается с жизнью. Лутра откусывает от него разок-другой, а потом сидит и лишь смотрит на остатки рыбы, не шевелится ли она, и будь он человеком, то, наверное, сказал бы:

— На что сдалась мне эта рыба, я и так наелся, сейчас, того гляди, лопну, да и оплеуху хорошую она мне отвесила.

Но Лутра сидит, лишь смотрит бессмысленно на карпа, ожидая, не пошевелится ли он, а иначе что с ним теперь делать? Обнюхав свою добычу, он отталкивает ее и глядит на другой берег, потом сползает в воду, которая уже совершенно спокойна. Он плывет, и вроде бы тянет его к норе, где можно полежать на сухих листьях, но еще далеко от дома ныряет в воду: на берегу вокруг большого тополя вьются какие-то странные облачка дыма, а чуть подальше вроде бы ходят люди.

Он убыстряет ход и невидимой тенью скользит в невидимый туннель. Ночь уже перешла в рассвет. Сероватые всполохи на востоке предвещали восход, и все ночные охотники улеглись на дневной отдых.

Сова Ух опять пролетела над рекой, неся в когтях ласку, которую по пути сюда схватила с земли, но съесть не успела, — рассвет погнал ее домой. Она жила в дупле старого бука. Ласка, конечно, была неосторожна, а в ночном мире



свободных охотников всякая неосторожность грозит потерей или добычи, или жизни. Ласка вцепилась в затылок молодому зайцу, перебежавшему дорогу. Заяц застонал и засучил лапами, поднимая пыль, а любопытная Ух полетела посмотреть, что за шум. Махнув разок крыльями, сова очутилась между дерущимися и с некоторым трудом — ведь ласка крепко держала зайца — оторвала ее от лопухого. Зайчик понесся куда глаза глядят, а ласка первый и последний раз в жизни, хотя и против своей воли, воспользовалась воздушным сообщением. Когда сова добралась до реки, ласка была уже мертва; она болталась в когтях у Ух не как опасная кровопийца, а как свиный завтрак. Ведь ласка настоящая кровопийца, и тут уж ничего не поделаешь, такая у нее скверная привычка. Своими маленькими зубками она не может откусить большой кусок и поэтому предпочитает пить кровь своей жертвы. Ласка убивает всякую дичь: куропатку, перепела и зайчат, а также других ходящих по земле и гнездящихся в ней

животных, которые настолько малы, что она в состоянии с ними справиться. Правда, полевые ласки приносят и пользу: их главное лакомство — мыши, но расправляются они и с сусликами, и даже с хомяками и крысами. Но если им подворачивается случай, они убивают цыплят, пьют кровь из кур, и беспечная хозяйка со слезами смотрит на произведенное ими опустошение. Ласку можно назвать лакомкой: она любит яйца, но за неимением другого ловит лягушек и раков. Однако не стоит на нее сердиться, она всего лишь небольшое звено в правильном круговороте природы. И делает то, что ей предназначено, с помощью того оружия, которым при рождении наделила ее природа.

Короче говоря, Ух несет ласку; Лутра, растянувшись, переваривает пищу; сорока тихим стрекотом приветствует солнце, поднимающееся из темного моря ночи, а бедняга Карак скитается бездомный, потому что вокруг зарослей камыша ходят люди, до сих пор не рассеялись тучи дыма, и ему нельзя возвратиться домой. Можно было бы сказать, что Карак грустит, но лисы сроду не грустят. Возможно, он страдает от боли, но Карак вынослив, не поддается слабости и никогда не узнает, что мельничиха записала на его счет украденную выдрой утку.

Пока что он лишь моргает, но даже это причиняет ему боль. Кроме того, его тревожит приближающийся рассвет, и поскольку тут нельзя оставаться, он припоминает разные убежища. Вдобавок ко всему он голоден. Но надо идти. Он с трудом поднимается, слегка почесавшись, разгоняет блох и, повесив голову, бредет куда глаза глядят.

Он тащится по дороге, словно презирая весь свет и раскаиваясь в своих многочисленных прегрешениях, но на самом деле и не думает о подобном. Вдруг, будто бы ни с того ни с сего, он сворачивает к кустам; здесь надо сделать крюк — ведь скоро покажется мельница, которую лучше обойти стороной: одна из тамошних собак отлично бегаёт, это Карак узнал на собственном опыте.

И вдруг по спине его пробегает холодок. Остановившись, лис оглядывается. Рассветная тишина, ни один листок не

шелохнется, в чем же дело? Он принюхивается, но в запахе дыма нет ничего опасного. Наконец, подняв взгляд, видит: огромный бук, а на краю дупла сидит сова и большими глазами смотрит на Карака.

— Вот как! — моргает Ух. — Карак идет. Вчера ночью кричала совушка, что-то говорила о Мяу. Моя маленькая сестричка права.

Карак читал новости в поблескивающих глазах совы, как человек — в газете.

— Да, конец пришел камышам, — склонил на бок голову лис. — Большой огонь съел их, до сих пор над ними стоит туча зловонного дыма, и я теперь подыскиваю себе местечко...

Но Ух не дала ему перевести разговор на другое.

— Мяу конец пришел, — щелкнула клювом сова, — это уж точно, я же слыхала, как галдела сойка и ворона каркала, что Карак несет Мяу, но, как вижу, — она потерялась клювом о дерево, — Мяу оказалась проворной и ловкой...

— Признаюсь, я неудачно ее схватил, — почесываясь, ответил лис, — а она была чрезвычайно проворной.

— Или ты слишком медлителен.

— Возможно, вполне возможно, — и по мохнатому хвосту Карака пробежала нервная дрожь. — Слети на землю, и тогда увидишь, достаточно ли я проворен.

На это сова взглянула на лиса так устрашающе, что он тотчас побрел прочь; Ух же, точно на санках, скатилась в глубину темного дупла, где жучок долбил дерево, превращая его в труху, и заблудившиеся муравьи подбирали вонючие остатки совиной еды. Слух у них прекрасный, но еще поразительнее зрение, и работают они, пользуясь главным образом глазами.

Сова осмотрелась, распустила веером перья, а потом сомкнула глаза, — признак приятной сытой дремоты.

К сожалению, бездомный Карак не мог сказать подобного о себе. Правда, он повстречал недавно одну лесную мышь, для которой встреча эта кончилась очень печально, но, проглотив ее, лис лишь почувствовал еще больший го-

лод. Лес уже поредел, и то здесь, то там поблескивала сероватая гладь реки. Карак поглядывал и на реку, ведь по ней плавали не только лодки, но иногда и пища. Голодному лису вполне сойдут и сдохший поросенок или утонувший щенок, выброшенные на берег. В таких случаях лисы становятся работниками коммунального хозяйства и, повинаясь закону природы, делают полезное дело, не в пример людям, бросившим пададь в воду.

— Ведь вода так или иначе все унесет.

И вода все уносит, но туда, где тоже живут люди, и от разлагающейся падали они могут легко заразиться и умереть. Муха садится на гниющую мертвечину, потом на поцарапанную руку купающегося ребенка или прокусывает ему палец своим хоботком, которым раньше копалась в падали, а против трупного яда не всегда есть лекарство.

Карак этого не знает. Ему годится всякая пища, и нечего злословить на его счет: о вкусах не спорят. Лис — лишь небольшое звено в круговороте природы, маленькая гиричка на огромных весах, помогающая сохранять равновесие. И если он ест мертвечину, это так же естественно, как то, что ласка, даже погибая от голода, не станет ее есть. У каждого организма свои законы, и к ним приспособливается как животное, так и человек.

Европеец, оказавшийся среди эскимосов, с ужасом смотрит, как они килограммами поглощают китовый жир или моржовое сало, а через несколько месяцев этот же самый европеец, чтобы не погибнуть от холода, тоже начинает есть китовый жир и тюленьё сало. Природа повелевает, организм человека приспособливается, и он ощущает потребность в жире, калориях, которые при умеренном климате не требуются в таком количестве, как при суровых северных морозах.

Однако вернемся к бездомному Караку. Он внимательно смотрит на берег.

«Что же это такое? Может, ястреб Килли убил голубя или расправился с уткой и разбросал ее перья?»

Карак тут же отвернулся, точно его не интересовали

белые перья, однако медленно двинулся к ним. Вдали лаяли собаки, поблизости не было ни души, но на лес уже падали отсветы зари, и у Карака не оставалось времени для раздумья. Он подкрался к берегу и, схватив утиные остатки, помчался обратно в лесную чащу.

«Лутра! Это Лутра, я чувствую по запаху!»

Но тут взошло уже солнце и излило на мир ясный утренний свет. Мельничное колесо сонно загребало воду, и Эстер, дочка мельника, выпустила из птичника уток. Утки были, как всегда, веселы, а Эстер задумчива; ей не хотелось бы, чтобы Миклош увидел ее сейчас, непричесанную, в стоптанных туфлях. Хотя, судя по всему, егеря уже попался на крючок, и лишь от Эстер зависело, когда она выудит его из веселой полноводной реки свободной холостяцкой жизни.

«Может статься, на масленицу», — подумала Эстер и повернувшись, наступила на лапу псу Пирату.

— Уй-уй-уй, как бо-о-ольно! — взвыл оскорбленный пес, подняв пострадавшую лапу.

— Так тебе и надо, глупый, зачем вертишься под ногами, — сердится на него Эстер. — И не так уж и больно тебе.

Но потом она приносит прекрасную кость от окорока и сует в пасть собаке:

— На, получай, а в другой раз смотри хорошенько.

Широким взмахом хвоста пес расписывается в получении кости и тут же принимается ворчать на свою подругу, собаку по кличке Марош, словно говоря:

— Убирайся отсюда! Тебе или мне наступили на лапу?

Пират с костью уходит, а Марош — кстати сказать, его жена — сердито гонит уток к реке.

Эсти идет на кухню.

— Уж второй день не вижу я нашу кошку, — говорит она матери.

— Не беспокойся, придет. Такая умная кошка.

Что правда, то правда, Мяу была умной кошкой, но об этом лучше судить Караку. Бездомному Караку, который

е утиными потрохами и половиной мельниковой кошки в желудке спит под кустом ломоноса.

А ведь он мог бы, наверно, вернуться домой, ведь ивовые кусты спасли от пожара его дом.

Заросли камыша продолжали дымить, но этот дым был как бы последним вздохом огня. Тонкие его ленточки поднимались то здесь, то там к небу, но начал таять утренний иней, и горящие угольки, падая на уцелевшие влажные стебли, не зажигали их.

Потом дымок превратился в пар, и когда солнце осветило как следует камышовые заросли, только головки и выжженные черные пятна напоминали о ночном происшествии.

— Гр-р-рустно, очень гр-р-рустно, — приговаривали грачи, — но не мешает поглядеть вблизи, что там случилось, — и сворачивали в камыши, куда прежде не залетали, так как раньше им неудобно было там приземляться.

Но на пожарище всегда может попасться что-нибудь съедобное. Так оно и было. Обожженные жертвы тщетно пытались укрыться среди корней: грачиный глаз все примечал.

— Смотрите, — кричал один из грачей, — здесь ползет Си, змея, мерзкая, жестокая пожирательница птенцов! Кар, тут, тут.

На этот крик к нему подлетела целая стая грачей. Напуганная змея пыталась вырваться из их кольца.

— Не пускайте ее!

Опаленная ночью и замерзшая на рассвете змея в страхе металась из стороны в сторону и после первого, сильного удара клювом уже едва ли почувствовала, что четверо грачей тянут ее в разные стороны.

— Бр-р-росайтесь на нее, — затрещала серая ворона и тут же присоединилась к грачам.

— Гр-р-рустно, — сказали потом грачи, — как гр-р-рустно, что змеи больше нет, — и продолжали семенить

среди закопченной трухи, ведь грачиный зоб вместительный, в нем всегда найдется свободное место.

— Га-га, га-га, — донеслось тут с высоты.

— Прилетел народ Гага, — прокаркала серая ворона, — надеюсь, он полетит дальше.

Но дикие гуси дальше не полетели. Они, наверно, устали или их привлекла яркая зелень пшеничных посевов. Вожак низким гортанным голосом отдал какой-то приказ, и гуси стали снижаться. Разумеется, не беспорядочно и опрометчиво. Они долго кружили, опускаясь все ниже и ниже, внимательно осмотрели окрестность и наконец, развернувшись, сели там, где им приказал вожак.

Сев, они распустили для отдыха свои шелестящие крылья.

— Га-га, га-га, — говорил вожак, внимательно глядя по сторонам.

Вся стая застыла на месте, и ничто подозрительное не могло бы ускользнуть от пятидесяти пар холодных зорких глаз.

— Га-га-га, га-га-га, — тихо говорили молодые гуси, что, должно быть, значило, что тут, как видно, вечное лето, пригревает солнышко и прекрасная зелень.

— Га-га, — сделал несколько шагов вожак. — Ешьте.

И голодная стая принялась щипать озимые посевы.

Дикие гуси прилетели издалека. Они пронеслись над несколькими странами, далеко позади остался их дом, гнезда, давно уже засыпанные снегом. Они прилетели со Шпицбергена или из какого-нибудь другого полярного края, где лето совсем короткое, и когда у нас осеннее солнце рассыпает золото своего тепла, у них на родине уже мало пищи и царит жестокий мороз, которого не выдерживают даже эти выносливые, тепло одетые птицы. Там в эту пору белый медведь подстерегает тюленя и полярная лисица — гагару. На севере остаются только те птицы, которые обходятся без растительной пищи, едят рыбу, и шубы у них теплей, чем гусиные.

Дикие гуси осенью отправляются на юг, а весной — на

север. Почти вся их жизнь проходит в странствиях. Но, как наши ласточки и аисты, птенцов они выводят лишь там, где родились. На родине создают они семью, которая держится до тех пор, пока птенцы не начинают летать; во время первого перелета семья еще вся вместе, но следующей весной образуются новые пары, семья распадается, но обычно родственники вместе летят в незнакомые южные страны под предводительством старого, закаленного в боях гусака.

— Га-га, — набив рот, приговаривают молодые гуси, — Какая сладкая травка и сколько ее!

— Вот обжоры-то! — увидев их, восклицает пахарь. — Погубят все зеленыя. Жаль, нет тут поблизости охотника.

Но он не прав. Ущерб, причиняемый этими птицами, незначителен. Если, конечно, посевы поздние и до прилета гусей всходы еще не окрепли, урожая хорошего не жди: гуси вырывают слабые стебельки вместе с корнем. Но виноваты в этом не гуси, а нерадивые люди. Охотник же, разумеется, с удовольствием подстрелил бы несколько хороших птиц, но сейчас ему это вряд ли удастся — ведь старые гусаки настороже, им знакомо коварство человека. Вожаки побывали во многих битвах, немало пуль, просвистев рядом, попало в их родичей, которые, перекувырнувшись в воздухе, с шумом падали на землю. Но такое несчастье случается обычно, когда, готовясь к ночлегу, гуси садятся вечером на большую водную гладь или на заре устремляются на молодые всходы. Больше всего неприятностей причиняют диким гусям туманы. В тумане даже гусь плохо видит и летит на небольшой высоте, чтобы не упускать из виду землю. А человек прячется в яме или камышах, и из вечерних либо рассветных сумерок, окутывающих поля и леса, в небо с треском взвиваются молнии, и намеченная жертва никогда уже не увидит своей северной родины. Многих птиц тогда ранят, некоторые из них выздоравливают, другие гибнут, становясь добычей крылатых и четвероногих хищников.

Но сейчас день, светит солнце, и поэтому человеку охо-

титься на диких гусей невозможно. Но только человеку, а не соколу, не орлу, не ястребу, против которых у гусей нет защиты. Эти хищники налетают, как вихрь. Они видят лучше и летают быстрее, чем гуси, ведь этим они и живут. К счастью, число их невелико, но за исключением ястребов они совершают перелеты на юг тогда же, когда дикие гуси, так что в пути их сопровождает обильный стол.

Да, жизнь гусей — это постоянная битва, и когда с веселым криком они поднимаются в воздух, покидая свои зимние становища, пустынные острова, однообразную тундру, они и не подозревают, что многие из них увидят, верно, изобилие южных краев, но родину — уже никогда.

Чем длиннее зима и путь, тем больше их гибнет. В мягкую зиму, когда толстый слой снега не покрывает посевы и повсюду для диких гусей обильный стол, они зимуют и у нас, в Венгрии, но в суровую зиму кладовка на запоре, и им приходится лететь дальше, в бесснежные теплые края. Тогда путь их на несколько сот километров длиннее, а чем длиннее путь, тем больше опасностей.

Не легче и при возвращении из теплых краев на родину: за гусиной стаей следуют крылатые хищники, подстерегают ее и желающие получить таможенную пошлину охотники. А гусь, как добрый конь, торопится домой. Весной, в феврале, марте время охоты на гусей короче, чем осенью: обратный перелет птицы совершают быстрее. Их подгоняет желание вить гнездо, влечет в родные края, к месту, где они увидели свет. Там нет людей, не стреляют ружья, и на бескрайних полярных просторах их тревожат только северные сова и сокол, лисица, горностаи да выдра. Но опасность, которую они представляют, такая же неотъемлемая часть гусиной жизни, как для человека угроза получить сердечное заболевание или попасть под трамвай; живет себе человек и об этой угрозе не думает, считая, что с ним беда не стрясется, а вот другого может, пожалуй, хватить удар.

Сейчас гуси летят спокойно: пригревает солнце, осенняя тишина простирается над полями — какое несчастье может произойти? Назойливость серых ворон их не трогает; крылья у гусей хорошие, зоб есть чем набить, стало быть, жизнь прекрасна и замечательна. С высоты они видят большую реку, а вдали озёра, — выходит, ночевка им обеспечена.

По реке, правда, плывет лодка, но и это в порядке вещей, на своей далекой родине они видели немало и маленьких лодочек, и больших кораблей, которые их не тревожили. С лодок охотились на тюленей, с кораблей — на китов, таких же огромных, как сам корабль, но человек сильнее всех, и он убивает китов.

В лодке на веслах сидит рыбак Янчи Петраш, а Миклош за пассажира. Они осмотрели опаленные камыши и, решив, что весной они разрастутся пуще прежнего, теперь проверяют верши. Жизнь рыбы — сплошная опасность, и не раз она попадает в ловушку именно тогда, когда чувствует себя в полной безопасности.

У верши две воронки, пасть и мешок. Возле берега, где рыба среди водяных растений обычно ищет служащих ей пищей букашек, воронки колыями прикреплены ко дну. Рыба в своих поисках обшаривает, конечно, и мягкую, как тина, сетку верши. Но сетка не пускает карпа, и он, легковёрный, плывет возле нее до тех пор, пока не попадает в широкое, постепенно сужающееся горло.

— Вот проплыву через это отверстие и буду на просторе, — думает карп, но оказывается в мешке, где он может без конца биться, пока не явится «спаситель» Янчи, однако его появление предвещает рыбе все что угодно, но только не свободу.

На этот раз почти все верши пусты.

— Рыба уже спит, теперь уже конец ловле вершами, — говорит Янчи и вытаскивает снасти на берег.

Там их высушат, заберут домой и лишь весной снова опустят в воду.

Миклош в задумчивости курит трубку.

— Гуси прилетели, — указывает он трубкой на небо, — аккуратно пятьдесят голов.

Янчи на берегу возится с вершей, вытрясает ее, но едва только поднимает глаза, как что-то привлекает его взгляд.

— Поди-ка сюда, Миклош, покажу тебе что-то.

— Скажи лучше, что там. Зачем мне тащиться по этой грязи?

— Я подтяну лодку. Вылезай, не пожалеешь.

Рыбак ловит цепь, и вот уже нос лодки упирается в берег.

— Смотри-ка!

На берегу лежит отличный карп, избавленный уже от всех земных забот. Вокруг разбросаны чешуйки, на голове у него след укуса, и этого укуса карпу, видно, было довольно.

Миклош сдвигает на затылок шляпу.

— Вижу, вижу. Но скажи, что мне делать. Где искать? Я знаю эту реку как свои пять пальцев, знаю берега, окрестности и, стыдно признаться, ничего не могу сделать. Может, зимой. . .

— Ее нора, стало быть, в таком месте, что мы и не догадываемся.

— Не знаю, но коли жив буду. . . Впрочем, прекрасная рыба, жирная. . .

— Возьми ее, — махнул рукой рыбак, — она еще свежая, похоже, всего несколько часов лежит здесь.

— Ну, тогда перевези меня на ту сторону.

— Ага, — улыбнулся Янчи.

Он хорошо знал, что рано или поздно рыбак попадает в сеть, а егерь — в западню.

— Перевезу, Миклош. Поосмотришься там немного, ведь сейчас тебя там наверняка не ждут.

Вода пролепетала, что ничего верного на этом свете нет, но кто поймет ее речи? Ни Янчи, ни Миклош не поняли. И стоило ли ей говорить, что из чердачного окошка мельничиха давно уже наблюдает за двумя мужчинами?

«Что они там делают? — размышляет она. — Может, пьют вино? Нет, не пьют. На что-то глядят».

Она поднялась на чердак за охвостьем и выглянула в окошко.

В девяноста девяти случаях из ста она не видела оттуда ничего, кроме привычного пейзажа, но на этот раз выглянула не напрасно. В кухне не метен пол, на столе гора грязной посуды, в комнате все разбросано, как на ярмарке. Вот стыд-то будет, если эти двое заглянут к ним. Она хватается пустую корзину и сбегает вниз по крутой лестнице, только неторопливо крутящееся колесо смотрит ей вслед.

— Миклош и Янчи едут сюда, — шипит она на дочку.

Мельничиха больше ничего не прибавляет, но сейчас не до разговоров. Летят куда-то подушка, ботинки, гребень; дрова — в печь, посудное полотенце — на винные стопки, метла проносится, точно молния...

— А твои волосы!.. Пощипли себе немного щеки, ты бледная, как мел. Вот белый фартук... Положи сала на сковороду... Пригласи их в комнату. Если сюда придут, палинки им подай, а потом и я войду. Белый фартук, белый, бестолочь!

Она тут же скрывается за дверью, бежит в конюшню.

Эстер закрывает окно, а в это время двое мужчин вылезают из лодки и идут по берегу к мельнице.

— Может, мы слишком рано заявимся, — волнуется егерь.

— Вовремя, — отмахивается от него рыбак. — Сейчас ты увидишь их дом, когда в честь тебя не выметены все углы. — И он громко стучит в кухонное окно.

— Можно пожелать вам доброго утра?

— Ах, ах, — краснеет Эстер. — У нас неприбрано. Кто так рано ждет гостей?

— Да я ему говорил, — пожирая глазами девушку, оправдывается Миклош, — но Янчи такой упрямый...

— Вы уж не обессудьте, пожалуйста...

Кухня сверкает чистотой, воздух в комнате чистый и теплый, оконное стекло блестит в лучах солнца. На Эстер

полотняный фартук. Руки у нее полненькие. Как ловко она поворачивается, как ловко наливает палинку.

— Прошу вас. . . Нет, нет, мне не надо, мне это слишком крепко.

Миклош наслаждается палинкой, чистотой, порядком, покоем, уютом и надеждой на будущее.

— Ой, дочка, дочка, — открывает дверь обрадованная мельничиха. — Что люди скажут? Все раскидано, не прибрано. . . У нас хлопот полон рот. Наливай, Эсти! Мужчины любят с утра пораньше выпить винца. Муженек мой говорит: кто не пьет, тот не мужчина.

— В меру! — елеиным голосом прибавляет Миклош.

Осушив стопку, он встает, потому что входит хозяин, мельник пожимает руку ему и рыбаку, не замечая строгого взгляда жены, наливает себе палинки и чокается с гостями.

— Ну, парни, проходите сюда. Что вы тут мешкаете? — Взгляд его падает на Эсти. — Сваргань поскорей яичницу, а то мы помираем с голоду.

— Не хлопочите, мы не затем пришли, — возражает Янчи.

— А тебя никто не спрашивает. Эсти, может, найдется у нас копченая колбаса? — заглянув в кухню, кричит хозяин.

На воде качается лодка, время от времени волны с шумом ударяются о ее борт, точно говоря: очень жаль, но мы не можем больше их ждать. И река права — она старше, чем люди, — когда гости садятся наконец в лодку, тени уже совсем короткие. Семья мельника стоит на берегу. Янчи берется за весла, Миклош широким жестом снимает шляпу, а когда на середине реки они оглядываются, на берегу стоит уже одна Эсти, машет фартуком. И Миклош, перегнувшись через борт, машет в ответ рукой.

— Фу-ты, коли перевернешься, я не выужу тебя из воды. Право, знаешь, золотые они люди. Если уж собрался, можешь спокойно жениться.

Егерь молчит, как дичь, уже поданная на стол, или рыба, которая, притерпевшись в верше, лишь ждет рыбака.

Эсти, точно лунатичка, выходит на кухню. Там раскрыты все окна.

— Накурили в доме, — говорит мельничиха. — А ты, — она смотрит на дочку, — готова была прыгнуть к ним в лодку. А потом взялась махать! Я бы и слова не сказала, маленьким носовым платочком еще куда ни шло, но фартуком... Поползут всякие сплетни...

— Да нет, ерунда, — говорит мельник.

— Когда я была девушкой... Да ты не в меня пошла.

— Мари, не ворчи, не кипятись, — хмурится мельник.

— Оставь девчонку в покое. Миклош — порядочный человек, и точка.

Он тут же уходит из кухни и не видит, как Эсти, расплакавшись, кладет голову на стол.

— Не дури! — подходит к ней мать. — Я не хотела тебя обидеть. Если бы я не рассердилась, то отца твоего и топором не отогнать от бутылки с палинкой... Миклош принес нам хорошего карпа.

— Карпа?

— Да. Отец прав: Миклош — порядочный человек и собой недурен. Только не знаю, жареную рыбу он любит или предпочитает уху.

— Уху, — всхлипывает Эстер, — да чтоб в ней было много лука и чуть-чуть белого вина.

«Порядочный человек» тихо сидит в лодке. Пиджак у него нараспашку, рубашка нараспашку и душа нараспашку; сидит, купаясь в лучах теплого вечернего солнца. Он молчит, как больная ворона на дереве, но лицо сияет от счастья.

Лодка проплывает под старым тополем, на котором остается все меньше и меньше трепещущих листьев. Но они ему уже не нужны: когда мороз парализует его корни, он не питается и даже не дышит. Соки в земле, остывая, густеют, корни их не всасывают и не посылают питание верхним веткам. Прекращается циркуляция соков, и под которой вокруг множества старых годичных колец появляется новое. Старое дерево клонит ко сну. Оно отдает ветру свои

шелестящие листья, заменяющие ему легкие, которые замерзли бы зимой, когда далеко уходит солнце, вечная мать, чьи теплые лучи вновь пробудят деревья весной. Старый тополь клонит ко сну, но он не боится зимы, ведь она сковывает холодом берега, и корни у него крепкие, в воду он не упадет. Боится он только весны, паводка, когда пропитанная влагой земля дрожит, как студень, и тяжелые глыбы ее сползают к реке. Всякое, конечно, случается, но об этом не стоит думать, все равно старый тополь ничем не может себе помочь. Он припас под корой пищу. Готовится ко сну и ждет лета.

Есть немало живых существ, которые любят лето, но и от зимы не бегут, а лишь одеваются потеплей. Например, у лиса Карака осенью вылезает летняя шерсть, редкая и не защищающая от холода. А новая шуба у него на пуху, и ему нипочем мороз. Зимой у лиса шкурка красивая, полный смысл его пристрелить, как полагают охотники, хотя сам Карак считает это глупым, возмутительным делом.

Но самые теплые шубы — перьевые, их носят дикие гуси, северные странники. Когда замерзают озера, их далекие становища, они садятся на зеркальную гладь, не чувствуя, какая она твердая. Спят, спрятав лапы в перья и укрыв крыльями голову, только вода их уже не баюкает. Лед пусть трещит, утолщается, это гусей ничуть не беспокоит. Он под ними подтаивает, а утром, когда стая улетает, там, где сидели птицы, остаются небольшие ямки. Гуси же, проведя ночь на льду, даже не чихают, это не в их обычае. Они закаленные путешественники, и свой дом, постель и одеяло несут на себе: все это им заменяет прекрасное оперение. Не морозы гонят их на юг, а снег, покрывающий посевы, и они летят до тех пор, пока не находят где-нибудь открытые кладовые, на которых не лежит снежный саван.

Хорошо ласточке, аисту и дикому гусю, но что делать коротконогим грызунам: мышам, белкам, соням, сусликам и хомякам? Они не могут, подобно птицам, проделать тысячекилометровый путь, поэтому устраиваются на зиму кто как умеет. Часть их забирается в конюшни, сараи, в

людские дома, а жители полей укрываются в подземных норах, которые заранее выстилают измельченной соломой.

Среди них самый большой, вредный и злой — хомяк. Этот завистливый пузатый хапуга способен прокопать подземный ход глубиной в один-два метра, в котором готовит для своей драгоценной особы спальню. И туда никого не пускает, даже самку и своих же детенышей. К спальне примыкают покои потесней, которые говорят о характере хозяина. Не думайте, что в подземном дворце этого аристократа хранятся сокровища искусства, драгоценности, статуи, картины в золотых рамах, изображающие битвы хомяков, — этот брюзга купец подобного хлама не собирает и, пожалуй, правильно делает.

— Наше богатство то, что мы едим, — сопит он.

Перед тем как погрузиться в зимнюю спячку, хомяк надежно заделывает входы и осматривает сложенные в кладовых припасы.

— Надо думать, хватит на зиму, — почесывает он раздувшееся брюшко и хватает зерно то пшеницы, то ячменя, то кукурузы, — ведь это ими набиты кладовые.

Запасы у этого скупердяя огромные: подчас он собирает около ста килограммов зерна. Если морозы спадают, и злосчастный хозяин подземного замка просыпается от урчания в желудке, он принимается за еду и ест, пока живот не вспучит, а потом снова засыпает. Центнер зерна — ценность немалая, поэтому хомяку приходится опасаться человека, который, отыскав его нору, раскапывает кладовые и выкрадывает накопленные богатства. Присваивать его добро, как считает хомяк, — грабеж. А когда сам он обирал человека, то поступал честно: в поте лица своего, понемногу копил припасы на черный день, когда метель станет выплясывать на земле свой танец.

Кто не рассердится, что тревожат его сон? Кому понравится, что ломаются в его покои? Да никому! Не нравится это и хомяку, и потому, если его сразу не ударить заступом или лопатой по голове, он оставляет на голени врага безобразные глубокие раны. Человек лишит хомяка

не только имущества, но и шубки, которую носят потом модные дамы, выдавая за канадскую белку или сибирского сурка. Против этого, однако, покойный хозяин подземного замка уже не может возразить.

Почти так же живет суслик. А вот мыши впадают в спячку только в очень суровую зиму, да и то лишь на короткое время. При первой возможности они вылезают из укрытий и, проделывая ходы под снегом, вредят посевам. Самые смелые из них, богатыри, забираются даже на верхушку снежных сугробов. Это почти самоубийство, ведь зимние хищники считают мышиное мясо самым изысканным блюдом. На мышиный писк галопом мчится лиса, охотно извлекают из снега дерзких героев и крылатые рыцари.

Соням такие опасности не грозят: эти мелкие грызуны, оправдывая свое название, спят с октября до апреля, укрываясь в древесных дуплах, расселинах скал, заброшенных птичьих гнездах, которые тщательно готовят к зиме. Они немногочисленны, предпочитают жить в лесу и тщательно избегают людей, так что человек редко встречается с ними.

Но тем лучше нам знакома белка, искусная прыгунья с пышным хвостом, однако любим ее мы напрасно. Там, где много белок, больших любительниц до птичьих яиц и птенцов, исчезают певчие птицы. Откровенно говоря, эти разбойницы с кисточками на ушах — самые заурядные грабительницы гнезд и птичьи убийцы. Им, разумеется, нужны и витамины, поэтому они охотно едят фрукты, орехи и лесные, и грецкие, желуди, древесные семена и кору. Из-за своего непоседливого характера белки не могут долго спать и только в студеный мороз лежат в удобных, высланных травой гнездах, которые делают сами или арендуют навечно у больших птиц. Их тоже отличает страсть к накоплению, но, разделив свои запасы, они держат их в разных дуплах. Скардность их безгранична, а память коротка, поэтому они порой забывают о некоторых кладовых, и запасы в них так и остаются неиспользованными или достаются другим.

Но пока еще осень. Только еще прилетели дикие гуси; в поле по бороздам еще бегают юркие мыши и суслики, к пущей радости ворон, пустельг, канюков; и хомяк еще только принимается замуравывать свой замок.

Карак с нетерпением дожидался ночи: в чужом месте его волновал непривычный шум. Недалеко была мельница, влажный ветерок доносил оттуда собачий лай, и в какой-то момент лис чуть не вскочил, хотя бегать при дневном свете — самая большая глупость. Но наконец солнце стало садиться, удлинились тени, и когда поблизости зашуршала мышь, Карак ее поймал.

— Даже ты пытаешься меня напугать?

Мышь не успела ничего ответить, да это и не требовалось. Облизав уголки пасти, Карак почувствовал, что раны его хорошо заживают. В его памяти возникли Мяу, камыши, и как только замигала первая звездочка, он пошел домой с намерением найти и съесть оставшиеся полкошки.

На лес уже опустился сумрак, и коричневые борозды нивы слились с зелеными всходами. Теплый пар с пашен уже улетучился, и ясное небо предвещало холодную ночь.

Карак вздохнул; добравшись до поля, где недавно паслись гуси, он даже прижался на минутку к земле: от следов исходил такой приятный запах. Этих больших красивых птиц там уже не было, но у лиса хранились приятные воспоминания о гусях, которые, подстреленные дробью, погибали вдали от воды. Дробь это не пуля, которая или убивает, или летит мимо. Заряд дробин — это сотня крупинок, и если он целиком попадает в дичь, она сразу гибнет, но если лишь частично, то через несколько дней она может и выздороветь. При попадании в сердце или голову, чтобы убить птицу, достаточно, конечно, и нескольких дробин. Гуманный охотник знает, как далеко бьет его ружье, и не пытается ставить рекорды, посылать несколько дробин в сердце или голову. Он знает также, что из большого заряда в дичь почти всегда что-нибудь да попадает и после жестоких страданий ее ждет гибель. Она сидит, скорчив-

шись, мучается в морозную ночь, а бессовестный охотник в хорошо натопленной комнате за стаканом вина говорит:

— Смылся этот жалкий гусь, а ведь покачивался в воздухе.

Улететь-то он улетел, но недалеко, и лихорадочно блестящими глазами смотрит сейчас в ночь, в которой уже подкрадывается к нему смерть. И тут лиса, кладущая конец его страданиям, в сущности, является избавителем.

У Карака нет спасательных намерений. Он просто-напросто голоден. До остатков кошки еще надо добраться, и он вообще не уверен, целы ли они. Камыши знакомы и другим лисам, которые разделяют его точку зрения, что птичка принадлежит не тому, кто ее выпускает, а тому, кто ее поймает. Хорошо зная это, Карак проявляет беспокойство. Но камыши преобразились, и нельзя очертя голову бежать в заросли.

«Ба, что так приятно пахнет?» — думает он. Ему не знаком запах жареного мяса, но без долгих раздумий он выкапывает из-под кочки большую обгоревшую жабу. По мнению жаб, самое подходящее место для ожидания весны — это кочка: на ней можно сидеть наполовину зарывшись в землю, наполовину укрывшись толстым слоем листьев. Что случится пожар, этого жаба знать не могла и поэтому спеклась в жару. Карак не стал ее за это порицать: с раздутым брюхом и чувством самодовольства приближался он к своей летней квартире.

— Рак-квик-квик, — затрещала вверху серая цапля и, оттолкнувшись ногами, покинула иву, где собиралась переночевать.

Карак в испуге прижался к земле, и сердце его тревожно забилося.

— Чтоб ты переломала свои ноги-спички, поганая воровка, похитительница рыб. Чтоб вцепилась тебе в шею большая сова, она давно уж, как я вижу... — распластанный на земле лис, у которого бешеное сердцебиение стало уже проходить, изрыгнул еще несколько проклятий в темноту, где скрылась эта выносливая птица.

Карак в сущности был прав, ведь цапли давно уже улетели, и только эта почему-то застряла. Она чуть не вылевала глаз Лутре, и непонятно, чего она тут дожидается. Может быть, у нее повреждено крыло, и она не решается пуститься в путь? Ждет самца, который где-то пропал, или предчувствует, что зима будет мягкой и нет смысла улетать отсюда? Кто знает, ведь цапля — суровая, скрытная птица, а возможно, она и сама не ведает, чего ждет. И отчего она испугалась, сидя в своей высокой спальне, ведь лису все равно туда не забраться?

Пока Карак приходил в себя, цапля устроилась на сухой ветке старого тополя. Взмахнув шелестящими крыльями, она сбила несколько листочков, и дерево встрепенулось. Задрожали оставшиеся листья:

— Чего тебе тут надо? Почему ты не летишь следом за другими цаплями?

Но, глядя на безмолвную реку, она не отвечала. А потом слилась с ночью.

Карак обошел вокруг островка ракитника, где была его нора, и с бесконечной осторожностью пополз по старой тропке, ничуть не пострадавшей от огня под защитой склоненных над ней сырых кустов. В ночном воздухе не было никаких опасных запахов, и жажда доест остатки кошки победила излишнюю осмотрительность. Мяу, конечно, лежала там, где ее оставили, и довольный Карак присел возле нее на корточки. Он ел не спеша: от каждого движения у него болела морда и нос был излишне чувствителен. Закончив ужин, лис осмотрелся по сторонам, словно в поисках пищи. Но сделал он это лишь по привычке, ведь под звездным небом вокруг него больше не было ничего съедобного.

Некоторое время Лутра глядел на светлеющее окошко своей норы, но не торопился покинуть убежище. Он вспоминал вкус нежной мельниковой утки, плеск весел и крик диких гусей. Но гуси его не особенно интересовали: на реку они не сели и ночевали где-то в другом месте. Река

была не очень широкая, но быстрая, а на проточной воде гусям нет полной безопасности и хорошего отдыха. Для этого им нужна большая стоячая водная поверхность — не беда, если она немного колышется, — но зато такая, от которой далек берег и где птицы защищены от неожиданной беды.

Цапля хорошо видела Лутру, нырявшего в реке, но глаза ее не оживились, не выразили любопытства. Выдра — постоянный враг, быть может, это именно ей она чуть не выклевала глаз, но об этом цапля вовсе не думала, выдра плыла глубоко под водой, и потому можно было ее не опасаться.

Лутра направлялся к мельнице, которая со вчерашнего дня обладала для него особой притягательной силой, хотя он и любил рыбу больше, чем уток. Но уже похолодало, и отыскивать в тине ямки, где сидят карпы, даже для него стало делом непростым. А до уток добраться легко.

Возле мельницы лепетала вода, протягивая под большим колесом свое бесконечное полотно. Окна в тот вечер не были освещены, и смолкло дребезжание вращающихся жерновов, словно горло воронок захлебнулось от золотистой, как мед, пшеницы. Лутра не был настолько голоден, чтобы покуситься на окрестных крыс. Он не очень любил крысиное мясо, и после вчерашней добычи еще не забыл вкус дегтя и дурной запах, оставшийся у него между зубами. Кроме того, он предпочитал охотиться в одиночку, а тут он краешком глаза заметил на мельничной трубе коренастую фигуру совы. Но он видел также, как Ух, вытянувшись, отклонилась назад и не спеша опустилась на ось колеса. Потом раздался какой-то отчаянный писк. Лутра приостановился. Он не мог как следует разглядеть, что происходит во мраке.

«Ух промахнулась, — поднял он голову. — Это Киз, крыса, даже мне она обычно сразу не сдается; кусается, пока есть силы».

Лутра выжидал. Он видел машущую крыльями сову и большую, бьющуюся в ее когтях крысу. У него даже мель-

кнуло было желание принять участие в этом поединке. Но ось торчала высоко над водой, и зоркую сову трудно обмануть. Впрочем, борьба скоро прекратилась. Ух несколько раз пыталась поднять крысу, но безуспешно, и лишь жалко волочила свою жертву. А крыса — опасный старый самец — была еще жива, вопреки ожиданию противницы. Приложив последние силы, Киз высвободилась из совиных когтей и, не то свалившись, не то спрыгнув, скрылась под колесом в темном вихре водоворота. А сова взлетела на трубу, свой сторожевой пост, и принялась приводить в порядок растрепанные перья.

Закружив полуживую огромную крысу, водоворот вынес ее в стремнину, куда за легкой добычей бросился Лутра.

Эта крыса не была перепачкана дегтем. Ни о какой борьбе тут и думать нечего было. Лутра взял ее в пасть, как собака, играя, хватает метелку, и поплыл к гладкому камню, месту вчерашнего пиршества, где откусил от крысиной тушки несколько кусков. Он не спешил, и когда крысиные остатки соскользнули с камня в воду, лишь поглядел им вслед, но не тронулся с места.

Зачем спешить? Луна еще только восходит, ночь длинна, и старая большая река сулит множество приключений во мгlistой осенней ночи. Воздух чистый, спокойный. Собаки мельника молчат, не хлопают лопасти колеса, дом спит глубоким сном, и окна с густыми бровями видят сны о лете.

Держась тени, Лутра прошел по берегу, потом, свернув возле дома, пополз мимо поленницы к птичнику. Он то и дело останавливался, принюхиваясь; органы чувств его были напряжены до предела, как туго натянутый лук, но ни уши, ни нос, ни глаза не говорили об опасности. Правда, чутье не шло в счет, поскольку двор наполняла смесь запахов домашней птицы, собак, конюшни и дыма. Ничто не шевелилось. Подозрительных звуков не слышалось, только нежно лепетала вода под большим колесом.

Добравшись до конца поленницы, Лутра застыл на месте. Что-то было не так. Какая-то странная тревога разлилась в воздухе: потом щелкнули зубы, напряглись мышцы



врага, и в момент, когда огромная долговязая собака выскочила из-за поленницы, Лутра, тотчас же подумав о реке, единственном пути для спасения, неслышно повернул назад.

Когда пес догнал ее, большая выдра, не уступавшая ему по величине, была уже на полпути к реке. Повернувшись, она укусила его в подбородок, и ловким змеиным движением, как умеют лишь выдры, тут же отскочила назад.

Пират взвыл от боли и хрипел от ярости.

— Уй-уй-уй... хр-р! Убью, р-р-растерзаю! — и опять прыгнул вперед.

По правде говоря, он подстерегал вовсе не выдру, и в борьбу вступить ему пришлось совершенно неожиданно. Заслышав писк крысы, он высунулся из-за стога соломы, где готовил себе зимнюю квартиру, и, когда увидел врага, к его надежде на легкую победу примешался основательный испуг. Выдра была огромная.

Когда собака предприняла вторую атаку, Лутра уже почти достиг берега. Схватка продолжалась недолго. Визжащий, хрипящий, крутящийся клубок распался, точно врагов расшвыряли в разные стороны, и Лутра спиной бросился в рокошущую воду, а Пират с воем поднял укушенную лапу.

— Что такое, что такое? — с лаем примчалась к нему его жена Марош, бывшая и ростом поменьше и потолще.

— Ай-ай, уй-уй, — воя, показал ей лапу супруг. — Что ж ты раньше ко мне не прибежала? Вдвоем мы бы прикончили противника.

Марош обнюхала, потом облизала его страшную рану.

— Пройдет. Я неслась во весь дух, но лис прошел по лесу, я изучала его следы.

Тут хлопнула дверь, и появился заспанный мельник с ружьем. Ружье никак не вязалось с его узкими длинными кальсонами.

— Что с вами стряслось?

Виляя хвостом, Марош стала подробно докладывать о случившемся, а тем временем Пират, хромая, подошел к

хозяину и, сев на землю, просто-напросто поднял кровото-
чащую лапу.

— За мной!

В доме мельник зажег свет; осмотрев, промыл рану.

— Уй-уй! — скулил пес и вертел хвостом, давая понять,
что ему больно.

— Не вопи! Это была выдра, и она тебя здорово тянула,
вот все, что я могу сказать. Покажи свою морду. Тьфу ты!
Как она тебя изукрасила!

Он принес тряпицу и пузырек с йодом. Обе собаки, не
переставая вилять хвостами, одобряли его действия. Ране-
ный Пират сидел, Марош стояла, и оба они не спускали глаз
с рук хозяина.

— Держи вот так! Не отдергивай лапу, а то получишь!
Поберегся бы лучше во время драки. Знаешь, дурья башка,
сколько стоит шкура выдры?

Но пес из рода Вахуров не знал, сколько стоит шкура
выдры, а также, что он дурья башка.

— Гав-гав, — тихо говорил он, крутя хвостом, что озна-
чало: «Я тут разнылся, но не обращайтесь, пожалуйста, на
это внимания».

— Завоешь ты и погромче, — посулил ему мельник, и
налил йода на тряпку.

Пропитавшись, она начнет жечь, но к тому времени опе-
рация будет закончена, и собака уже не сорвет пахнувшей
йодом повязки.

— И морда у тебя тоже в крови.

Подняв подбородок, Пират закрыл глаза, показывая
своим видом: пусть, мол, все идет как положено.

— Ай-ай! — отскочил он в сторону, когда йод начал
жечь лапу; Марош же стояла, виляя хвостом.

— Ишь какой нежный. . . Убирайтесь отсюда, — махнул
рукой мельник и задул лампу.

Пирату очень хотелось сорвать повязку, но его пугал
сильный запах йода.

— Сними ее, — скулил он.

— Иди ко мне, — подбадривала его супруга, толстень-

кая, пушистохвостая Марош, — я тебе как следует вылижу рану, а это самое лучшее лекарство. Но ткнувшись носом в тряпку, она отвернула морду. — Не могу, меня мутит. Что же нам теперь делать?

И обе собаки в пропахшей йодом лунной ночи уселись, не зная, что им делать.

Лутра тоже некоторое время оставался в нерешительности, потом нырнул в водоворот возле мельницы. Выплыв на середину реки, лишь там высунул он голову из воды.

На берегу и вокруг было тихо, точно ничего не случилось. Одно окно в доме, правда, словно открытый глаз, засветилось, но оттуда доносился только тихий голос человека. Лутра уже не был начеку, как прежде, и вся эта история с собакой его ничуть не занимала, но ему запомнилось, что приближаться к поленнице опасно, позади нее сидит пес.

На том месте, где вчера Лутра поужинал карпом, он опустился на дно, но ямка оказалась пуста: вспугнутые рыбы залегли в мягкую тинистую постель в другом месте. Он поплыл назад, отыскивая упавшую в воду крысу — на худой конец сойдет и она, — но ее уже далеко унесло течением. Его мучил голод. А на реке ни движения, ни всплеска. «Мирные» рыбы, такие, как карп, закопавшись в ил, отсиживались в своих зимних квартирах; они стали невидимыми, и теперь в воде сновали лишь хищники, тоже голодные, а лещи, уклеи и другие рыбешки спали. Но где? Вода еще не стала настолько прозрачной, чтобы издали увидеть спящую рыбу, а Лутра был так голоден, что ему не хватало терпения шарить по дну. Он переплыл на другой берег, где в мелководье среди кочек поймал недавно дикую утку, но и там никаких признаков жизни не было. Желудок выдры все сильнее раздирали когти голода, и сверкающий ее взгляд остановился на стебле камыша, который и прежде был согнут, а теперь низко склонил к воде свою метелочку. Слившись с темными кочками, Лутра опустил веки, — ведь там, где блестит вода, в тусклом свете,

словно лампа в запотевшем окне, мерцают и глаза, — и ждал, чем завершится бесшумное движение.

По непрочному мостику стебля шла землеройка, медленно и осторожно. Лутра был очень голоден, а землеройка была очень маленькая, всего лишь с большую мышь, ему на один зуб, однако и это добыча, и упускать ее не стоит. Землеройка живет сходно с выдрой, но дольше заботится о детенышах, и лишь зимой семья ее распадается. А поскольку в это время года кладовая с продуктами на реке была закрыта, она заходила в деревню и на мельницу. Нора у нее, как и у выдры, с двумя выходами, находилась на берегу.

Ее длинный, почти как хобот нос отличался прекрасным обонянием. Вот он принюхался, и метелка камыша стала подниматься, как шлагбаум при отходе поезда, что означало: выдающийся нос вместе с его обладательницей отступает назад.

Тут уже Лутра не вытерпел и одним рывком подался вперед. Но, почуяв его, землеройка прыгнула вниз головой в сплетение прибрежных трав и вползла во вход своей квартиры, прежде чем враг успел ее схватить. В спокойной чистой воде у землеройки, отличной пловчихи и ныряльщицы, не было бы никаких шансов спастись, но среди кочек, тины и обломков камыша преимущество оказалось на ее стороне. Это ее дом, тут она подстерегает водяных жучков, лягушат, рачков, улиток, мелких рыбешек, вокруг них поднимает тину и, как говорится, ловит рыбку в мутной воде. Но не будем ставить ей это в вину: все обитатели вод предпочитают ловить рыбку в мутной воде. Лишь в мутной воде есть жизнь и пища, а в прозрачной нет почти никакой жизни, к тому же она обычно холодная. Согревшаяся вода мутна не только весной, когда паводок приносит ил и пищу, но и в другое время, когда миллиарды малюсеньких животных, не видимых невооруженным глазом, окрашивают ее в коричневый, желтый, зеленый, синий и даже красный цвет. Для «мирных» рыб, и в первую очередь для карпов, эти малюсенькие организмы — главная еда.

Но расстанемся ненадолго с землеройкой, которая в своем надежном доме теперь, наверно, оповещает членов семьи о пережитой опасности. Она, конечно, не говорит, что встреча эта могла стать роковой, не поднимает шума, как люди, и лишь из ее поведения следует:

— Лутра чуть не поймал меня, сидите тут, не выходите.

Детеныши и не выйдут, ведь в каждом движении матери предупреждение о внешней опасности.

Раздосадованный неудачей, Лутра плыл с необыкновенной быстротой и уже почти достиг границы своего охотничьего угодья, в которые не допускал других выдр, как вдруг остановился, и холодок ярости пробежал по его спине: какая-то выдра, сидя на берегу, ела рыбу.

Лутра привык, что, когда он охотился, другие выдры тотчас же сворачивали с его пути. Если охотились, то прекращали охоту, если ели что-нибудь, то бросали недоеденный кусок, если искали нору, то сразу соображали, что надо убираться подальше. А эта продолжала как ни в чем не бывало есть, хотя прекрасно видела Лутру и знала, что тот ее тоже видит. Лутра забыл о голоде и даже об охоте, — ведь встреча эта предвещала приключение и охоту иного рода. Жажда схватки у него остыла, и он направился к берегу скорей из любопытства. Чувствовал он примерно то же, что хозяин сада, увидевший в своих надежно охраняемых владениях незнакомую хорошенькую девушку, которая преспокойно собирает клубнику или ест персик.

— Простите, пожалуйста, — сказал бы хозяин, — как вы сюда попали?

Возглас его прозвучал бы совсем иначе, если бы он обнаружил там чужого мужчину.

— Хулиган, убирайся отсюда! — закричал бы он, а возможно, схватив за шиворот, тотчас выставил бы его вон.

Но сидевшая на берегу и изящно закусывающая рыбой незнакомка была самочка и к тому же, на взгляд выдр, недурна собой. Держа в обеих лапах щуку, она с аппетитом объедала ее мясистую спинку.

Лутра двинулся к ней, но в его движениях не было ни

угрозы, ни дружелюбия. Самочка перевернула рыбу, словно желая убедиться, что мясо возле хвоста у нее такое же вкусное, как у головы. Но когда устрашающе огромный Лутра вылез на берег, гостья положила добычу на землю, и взгляд ее сказал:

— Ну и хорош! Впервые вижу такого красавца!

И она отползла на несколько метров и присела на корточки, словно признавая: все, что произойдет, в порядке вещей. А Лутра, не торопясь, взял щуку и принялся жадно ее уничтожать. И какой вкусной она оказалась! Голод прошел, и все вокруг словно преобразилось.

Лутра посмотрел на маленькую выдру.

— Славно! — говорил его взгляд, но в нем не было ни благодарности за еду, ни вопроса, что делает гостья в его охотничьих угодьях.

А маленькую выдру его поведение ничуть не удивило: она была готова к тому, что добычу у нее отберут.

Щука бесследно исчезала, от нее осталась только голова, разбросанная чешуя и несколько больших костей. Лутра облизал уголки пасти и шерсть вокруг, потом, подойдя к самочке, обнюхал ее. Та, слегка вздрагивая, не сопротивлялась, а затем с игривым испугом отпрянула назад. Лутра не пошел к ней. Оглядев раскиданные остатки рыбы и посмотрев на воду, он направился к реке. Гостья последовала за ним, ведь все его движения кратко и ясно говорили:

— Давай поохотимся вместе.

И маленькая выдра сочла это большой наградой. В воде они тут же поняли, как будут сообща ловить рыбу: гостья спугнет ее, а Лутра схватит обезумевшую от страха и спасающуюся бегством жертву. Для этого им не пришлось строить планы, вести переговоры. План этот родился вместе с выдрами, и они никогда о нем не забывали. Самочка свернула на середину реки, потом опять к берегу, а Лутра следил за каждым ее движением, хотя голова у нее лишь изредка то здесь, то там показывалась из воды. Чувствовал он и какие-то всплески и тогда нырял сам.

— Ого! — ринулся он к берегу, гоня перед собой отличного большого леща.

Как только Лутра тронулся с места, лещ заметил угрожающую ему опасность — ведь сетью нервов, покрывающих все тело, рыба ощущает плеск воды, — но секунду он колебался, как спастись бегством, опустившись поглубже или вынырнув на поверхность, и опоздал. Вытащив добычу на берег, Лутра опять устремился в воду, где промелькнула стайка маленьких лещиков, а среди них хороший судак. Он схватил лещика, на что судак молниеносно скрылся в глубине. Отпустив пойманную рыбку, Лутра, нырнув, погнался за другой и с ней выполз на берег. Рыбная ловля кончилась. В пасти самочки махал хвостом, прощаясь с рекой и выдрами, карп, а Лутра пододвинул к себе большого леща и, скосив один глаз, заметил, что и его товарка по охоте принимается за еду.

Они ели, как старые знакомые, время от времени посматривая друг на друга, и взгляды их точно говорили:

— Отлично поохотились!

Тени стали удлиняться. Петух мельника уже подгонял зарю, словно беспокоился, что без его вмешательства не наступит утро. То же самое полагали и деревенские петухи, кроме одного, который уже ни во что не вмешивался, ничем не интересовался, даже золотистой кукурузой. Этот петух с одного из дворов молча совершал свой путь в обществе Карака, верней в его пасти, и путешествие это было для него отнюдь не веселым.

Но вернемся немного назад, ведь мы покинули лиса вечером в летней норе, когда у него испарилось даже всякое воспоминание о Мяу, и он лишь по привычке поглядывал по сторонам в поисках чего-нибудь съестного. Потом Карак принялся усердно чесаться, а это означало, что он в раздумье, а кроме того, предупреждает блох, что им следует перейти в другое место, поскольку брюхо очень сильно зудит. Блохи поспешно подчинились приказу скребущих когтей, лис же выполз во тьму. Укусы пчел уже были едва

заметны, царапины, оставленные кошкой, затянулись, только глубокая ранка на носу продолжала сильно болеть. Но это не могло отбить у нашего плута желание поохотиться, которое вело его в деревню.

Сначала он обошел вокруг своей норы: кто знает, а вдруг какой-нибудь враг, а может быть и друг заполз в заросли. Зная нрав Карака, нетрудно понять, что друг — это для него существо к еде непригодное.

Однако там никого не оказалось, и лис, пробежав через большой луг, продолжал путь по извилистой тропке.

— Квик, квик! — крикнула ему вслед маленькая болотная совушка, но он, не обратив на нее внимания, еще усердней стал раскручивать под собой узкую ленту тропинки.

Карак неся с такой быстротой, что чуть не сбил с ног ежа Су, который, желая полакомиться, шел к знакомой ему в здешнем лесочке дикой груше. Су тотчас свернулся клубком, выставив тысячи иголок, — так защищался он от всех врагов и в данном случае от лиса. Хищники-знатоки высоко ценят ежовое мясо, а Карак безусловно входил в их число. Если бы он не так мчался, то, верно, успел бы схватить ежа за нос, но теперь об этом нечего было и мечтать. Су — точно шаровидный кактус, да только без корней, и со всех сторон, к сожалению, со всех сторон торчат из него твердые колючки.

Окажись поблизости вода, лис докатил бы до нее колючий шар, а очутившись в воде, Су от страха высунул бы нос, за который Карак его тотчас схватил бы, но, на беду, воды поблизости не было. Караку не осталось ничего другого, как иным способом попытаться счастья. Став возле Су, он поднимает заднюю лапу. Мясо ежа — отличная вещь, и грех отступаться. Обычно прием этот удается, ведь лисья моча едкая, вонючая, и еж, напуганный зловонным ливнем, высовывает нос из своей терновой крепости. Но на этот раз попытка Карака не удалась. Он, правда, поднял лапу, как собака над камнем, но выжал из себя лишь несколько капель.

— Была не была! — потеряв терпение, разозлился он и прыгнул на ежа.

— Кс-с-с, у-у-у!

Тут Карак от боли перекувырнулся: колючки Су вцепились как раз туда, где остался след от укуса Мяу. Скрежеща зубами от ярости, лис прыгал вокруг ежа. Казалось, он готов снова наброситься на колючий шар, но, чуть погодя, он вдруг повернулся и расстроенный побежал в деревню. А маленькая болотная совушка, промелькнув в темноте, принялась, как обычно, расспрашивать:

— Су, а Су, квик! Не Карак ли прошел тут?

Но еж не отвечал. Его бы не заметил никто, кроме совушки, которая видела сейчас, как днем, и напрасно шумела: ее крик мог вернуть лиса.

Еж и не думал шевелиться, ведь маленькая совушка не в состоянии причинить ему вред, а вот большие совы, распоров длинными когтями колючую шкуру, расправляются с этим угрюмым странником.

Но расстанемся с ежом, его не ожидают интересные приключения. Быть может, он поймает несколько мышей, съест две-три дикие груши, а потом завалится в свою нору и проспит там до весны. Летом следить за одиноким витьзем в колючей шкуре, конечно, куда интересней, тогда он, случается, сражается и с гадюками, но нередко опустошает свитые на земле птичьи гнезда и даже убивает зайчат.

Однако лето уже позади. Теперь он охотится только за мышатами, ищет дикие груши, древесные семена, а когда ударят первые сильные морозы, заползет под куст можжевельника, устроится в своей вырытой в земле, защищенной корнями и устланной листьями, зимней квартире, и снова откроет глаза только при наступлении весны.

Последуем лучше за лисом. Будь он человеком, он проклинал бы себя за недавнюю глупость. Ежовые колючки разбередили ранку на носу, прокололи воспаленные царапины — следы Мяу, и теперь от жгучей боли слезы бежали из его глаз. Ему больше ничего не оставалось, как, подойдя к реке, опустить в воду горячий и дергающийся от боли

нос. И через полчаса Карак, уже веселый, крадется по околице, точно у него сроду не болел нос и никаких ежей на свете нет. В полном душевном равновесии и с соответствующей ему осторожностью он взвешивает полезные, бесполезные и опасные вести, посылаемые голосами, запахами и тенями.

За садами вдоль всей деревни идет дорожка, а рядом с нею — канава. Карак мчится, конечно, по дорожке, он не любит, когда росистая трава мочит ему брюхо. К тому же по утоптанной дорожке быстрее и бесшумней бежать. Собаки, главным образом на улице, лают на запоздалые телеги возвращающихся домой людей, чужих псов и на луну, холодную небесную странницу.

Карака ничуть не волнует лай. Он даже вселяет определенную уверенность, ведь по нему можно определить, где находится собака. А если возле какого-нибудь дома царит тишина, лис, насторожившись, приостанавливается и большим носом проверяет живые и мертвые запахи.

Луну Карак не любит. Она хороша, когда помогает оглядеть все вокруг не вставая с места, но не кстати, когда, как сейчас, надо двигаться. Но добыча не идет сама в руки. Хорошо, когда она подает голос, указывая, где находится: в птичнике, на шелковице или поленнице. Если бы Карака спросили, он решительно осудил бы содержание домашней птицы в вонючих курятниках, считая, что ей полезней жить на вольном воздухе. Но никто его не спрашивает. Врага не принято спрашивать, а лис — враг человека, хотя и не подозревает об этом. Он просто хочет есть, и когда рябой петух старой вдовы вторично объявляет о ходе времени, Карак прямо-таки влюбляется в его отдающий металлом голос.

«При таком голосе должно быть и тело...» — думает он.

В подобных делах лис прекрасно разбирается. Петух светлый, рябой, что ночью не имеет никакого значения — в темноте все петухи черные, — но телом настоящий богатырь, с огромным гребешком и здоровенными шпорами.

Невольно поддержав мнение Карака, старуха не заперла

своих кур и петуха в птичник, а оставила во дворе. С наступлением сумерек птичий народ расположился у поленницы. А она — точно лесенка. С нее легко можно было залезть до нижних веток дерева. Когда замерцала вечерняя звезда, куры все были уже на дереве, петух же воссел, как на троне, на самом верху поленницы, с удовольствием чужая под ногами твердую основу, — ведь раскачиваясь на шаткой ветке нельзя самозабвенно кукарекать.

В доме вдовы не держали собаки, но Карак не знал этого и терялся в сомнениях. Ветхая изгородь показалась ему вполне подходящей на случай, если придется спасаться бегством, и когда дородный петух прокричал еще раз, лис, уже не колеблясь, прошмыгнул в щель забора и, прячась в тени смородиновых кустов, подкрался к легкомысленному певцу. Обойдя вокруг поленницы, он бесшумно вспрыгнул на первую ступеньку и уже добрался до следующей, как вдруг чуткий петух спросил:

— Кукареку, кто идет?

Подслеповатыми глазами он всматривался в темноту, откуда пробирался к нему Карак, пропустивший вопрос мимо ушей.

Лис, верно, считал, что сейчас не время для разговоров и, чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, схватил бдительную птицу за шею. Взмахнув несколько раз крыльями, петух замолк навеки. Больше он не проявлял ни любопытства, ни бдительности. В пасти Карака он совершал путешествие в укрытую в камышах лисью нору.

К тому времени луна уже прошла большую часть предназначенного ей пути; видно, ее стало клонить ко сну, и она укрылась легкими пепельными облаками, которые поглощали ее холодный свет, окутывая зыбкой дымкой поля. Таковую мглу больше всего любят ночные охотники. В ней растворяются все движения, и раздобыть пищу можно лишь с помощью обоняния и слуха.

На реке, и теперь освещенной лучше, чем лес и луга, было видно, как легко и бесшумно плывут Лутра и его подружка. Впереди большой самец, позади маленькая



самка. Потом Лутра, нырнув, с необыкновенной быстротой устремляется к берегу и возле него снова ныряет. Он оглядывается и, видя, что его подруга в нерешительности следует за ним, опять ныряет.

— Я хочу остаться один! — говорят его маневры, а слово большой выдры — приказ.

Самочка, не колеблясь, поворачивает в другую сторону и скрывается в тени противоположного берега, очень довольная совместной охотой. Но и она, и Лутра понимают, что на этом дело не кончится. Они сохраняют в памяти сегодняшнюю ночь и то место, где повстречались. Охота удалась, животы их битком набиты, а в реке, где скудеет теперь добыча, хорошо охотиться сообща. Со временем голод или какое-нибудь происшествие невольно разбудят эти воспоминания, и выдры примутся искать друг друга. Сейчас каждый из них занят собой, но придет такой час, когда судьба вновь их сведет, и эта встреча не будет уже случайной.

Ночь становится все холодней. Над рекой уже не стелется туман, и звезды смотрят на землю колючим взглядом, хотя там все спокойно и лишь похолодало, что, впрочем, ничуть не беспокоит Лутру. Он плывет к дому. Но возле мельницы невольно приостанавливается, хотя и там все спокойно. Молчит мельница, молчат и ее окрестности. Полночь уже позади, собаки спят возле стога соломы, считая, что в этот поздний час и вор спешит домой, — ведь его время истекло, и ему надо хоть немного, но поспать.

Марош, вопреки обыкновению, лежит на некотором расстоянии от своего супруга, который вместо благородного запаха псины распространяет отвратительную вонь йода, но тут уж ничего не поделаешь.

Пират порой повизгивает во сне, и тогда Марош шевелит ушами, точно говоря:

— Ему больно...

Это не сочувствие, а лишь утверждение.

Лутра оценивает разные звуки. Ненужные, как бы просеянные через решето, уносятся рекой, а другие, сулящие охоту, надо изучить вблизи. Например вот это тихое барах-

танье на берегу, и Лутра сразу туда поворачивает. Он погружается в воду, так что торчат только нос и глаза, и прежде чем вылезти на сушу, долго лежит в мелководье. Опять слышатся тихие прыжки и потом будто хлопанье крыльев.

— Что это?

Звуки несколько странные, и выдра в нерешительности, но постепенно она теряет осторожность — в ней просыпается охотничий инстинкт. Тихо, как тень, выбравшись из воды, она приближается к месту, откуда доносится необычный шорох. Да и картина перед ней необычная: на берегу сушится верша, а в ней прыгает фазан. Ничего подобного Лутра сроду не видывал и потому с волнением следит за происходящим. Фазан ему не в новинку и верша тоже, но птица в верши — это что-то новое.

Фазан большой и красивый. Перья его сверкают в бледном свете дремлющей луны и манят к себе Лутру, но верша отпугивает.

— Нет! — протестует в нем что-то, и он вновь чувствует в легких то стеснение, которое испытал однажды, когда он сам попал в похожую вершу.

Он долго наблюдает, как прыгает соблазнительная птица, но не трогается с места: трепыхание сети напоминает ему, как он барахтался в ней.

И тут происходит нечто странное.

Метнувшись туда-сюда, фазан неожиданно оказывается на свободе и со страшным шумом летит в лес.

— Такат-татата! — кричит он и оглушительно бьет короткими крыльями, а Лутра при таком неожиданном повороте событий цепенеет.

— Что же такое произошло? — бессмысленно смотрит он в пространство, потом вслед птице.

Она улетела, хотя и сидела в ловушке. Это очень подозрительно.

И как обычно, когда он был в растерянности или надо было спастись бегством, Лутра поворачивает к реке. Его настоящая жизнь, спасение, покой — всегда в воде, поэтому

он и теперь, долго не раздумывая, ныряет в воду, и его голова, таинственное темное пятно, бесшумно скользит по поверхности.

Тень прибрежного леса уже упала на реку, и лишь в вышине, на кронах деревьев сохранялся холодный свет. Теперь Лутра чувствовал себя в полной безопасности. Он был сыт, но с некоторой завистью смотрел, как лис мчится по тропинке, неся в пасти огромного петуха.

«Караку повезло», — подумал он и, чтобы не отстать от него, схватил зазевавшегося молодого карпа.

Лис услышал плеск воды, но притворился, будто не видит, что неподалеку плывет выдра, уничтожая на ходу карпа. Возле своей норы Лутра бросил остатки рыбы и, расслабившись, нырнул. А потом с приятным чувством сытости и предвкушением отдыха заполз в туннель.

Карак остановился и положил на землю петуха, хвост которого щекотал его чувствительный нос. Голодный лис готов был уже приняться за еду, но, раздумав, схватил свою добычу и побежал на луг. Мрак уже стал рассеиваться, и в воздухе мерцал свет пробуждающегося утра.

Лис торопился. Однако вполз в свою летнюю нору осторожно. Убедившись, что там не нарушен порядок и не чувствуется чужих запахов, он занялся петухом. Полетели перья, исчезли ножки; хруст косточек не мешал Караку ловить ухом все доносящиеся с берега шорохи, и от него не ускользнул топот на тропинке.

Лис перестал есть и настороженно прислушался к шуму шагов. Даже с закрытыми глазами он знал, где и куда ведут людей башмаки, и ничуть не волновался. Если бы шаги смолкли и зашелестел камыш, Карак тотчас же вскочил бы. Но башмаки со стуком шагали уже вдоль леса, они вели егеря Миклоша и рыбака Янчи Петраша. Вчера они легко столкнувались: пролетавшие над рекой дикие гуси навели обоих на одну и ту же мысль.

— Хорошо бы поесть такого гуся, — взглянул на небо Янчи, — хотя и говорят, что он пахивает рыбой.

— Надо содрать с него кожу, тогда никто и не скажет, что это не домашний гусь. Мясо у него нежное, поверь мне.

— Пойду, пожалуй, с тобой на охоту. Притащу домой хоть парочку. — Рыбак в задумчивости рассекал веслами воду.

— Ладно, Янчи, но не брани меня, если мы не пристрелим ни одного.

— Охотники и рыбаки — дармоеды и чудаки. Думаешь, не знаю?

— Ночью, в четыре часа, постучи мне в окошко. Я теперь сплю как убитый, — сказал Миклош. — Но учти, не будет тумана, не будет у нас и гуся.

И вот егерь и рыбак идут вдоль реки, целиком поглощенные мыслью о предстоящей охоте; они ушли так далеко, что Караку уже не слышно их шагов. Еще темно, но над лесом лениво витает рассвет, и откуда-то издали доносятся гогот гусей.

Миклош прислушивается, раскрыв рот, — ведь так лучше слышно.

— Они еще на воде. Пошли туда. Местечко хорошее, лес там невысокий. Но слишком ясная погода. Зато увидишь, как они летят.

Почти бегом спешат они по лесной дороге и, отдуваясь, останавливаются, когда Миклош наконец говорит:

— Ну вот и пришли. Встанем вон за тем кустом. Теперь не кури, Янчи, у этих разбойников гусей такой глаз... Те-с-с... слышишь?

Янчи лишь кивает, что слышит, как приближается стая, и, возбужденный, сжимается, стараясь стать как можно менее видимым.

— Смотри! — указывает на небо Миклош. — Как высоко! Не стоит стрелять.

— А может все-таки попробовать? — зараженный охотничьим азартом, спрашивает рыбак.

— Не стоит, Янчи. Мы лишь спугнем следующую стайку. Может, она спустится пониже. У меня в ружье хороший заряд дроби.

Гогот снова приближается, но, к великому прискорбию Янчи, гуси пролетают в стороне.

— Там надо бы нам встать.

— Не мудри, Янчи. Если бы охотники знали, где надо стоять, то ни одного гуся уже не было бы на свете. Вот теперь смотри! Если не промахнемся, постарайся проследить, куда упадет птица. Хорошо летят, чуть высоковато, но все же... Ну... — И он поднимает ружье.

После выстрела один из гусей, словно желая сделать круг, отделяется от стаи, а потом, сложив крылья, камнем падает между деревьями.

— Ух! Как здорово получилось! — в восторге восклицает рыбак. Если бы он свалился нам на голову...

— Упав с такой высоты, он может и убить человека. Хватит по голове и шею переломает... Не шевелись! Только бы они не свернули в сторону.

И один за другим раздались два выстрела. При первом еще одна птица, закружившись, полетела вниз, а при втором дернулась и третья и, постепенно отрываясь от стаи, стала снижаться в поле.

— Следи за гусем, Янчи!

Рыбак пересек узкую полоску леса и с края поля увидел, куда опустилась раненая птица.

— Этот уже у нас в руках! — воскликнул обрадованный Янчи и помчался к гусю, который лежал растянувшись на пашне, но, увидев человека, встал и быстро зашагал прочь.

— Ну куда же ты? — испугался рыбак. — Уж не вздумал ли уйти от нас?

Немало пришлось Янчи побегать, пока, наконец, не удалось ему схватить гуся за шею. Тем временем раздалось еще три выстрела.

Когда он вернулся в лес, ему было уже жарко, как в знойный летний полдень, хотя солнце только вставало.

— Подлец такой, в пот меня вогнал, — с трудом переводя дух, сказал он. — Не окажись у меня палки, похоже, ушел бы. Пристрелил еще парочку?

— Всего, должно быть, пяток.

— Здорово!

— Но один, раненный в крыло, забрался куда-то. Не знаю, найдем ли его. Погляди, Янчи, возле старого ясеня.

Янчи обошел вокруг большого дерева раз, другой, третий. Заглянул подо все кусты, даже вверх посмотрел, не застрял ли гусь на верхушке ясеня, но так его и не нашел.

Остальных четырех птиц Миклош разложил на траве аккуратно, в ряд, воздавая почести павшей дичи, и потом тоже отправился на поиски.

— Погоди-ка, Янчи. При падении он ударился об эту ветку, здесь где-то должен быть.

И они, шелестя кустами, продолжали искать, пока их не увидел мельник.

— Ну, сколько? — поздоровавшись, спросил он.

— Пяток, — ответил Янчи. — Пятого вот ищем.

Заслышав пальбу, мельник из любопытства пошел посмотреть, что происходит, и взял с собой Пирата.

Пес сдержанным вилянием хвоста приветствовал знакомых, затем сел, подняв больную лапу, словно говоря:

— Ночью была ожесточенная схватка. Я чуть не прикончил врага, да он спасся бегством.

— Что случилось с собакой?

— Подралась с выдрой, по укусу видно. Знать, большой зверь, иначе Пират бы с ним справился.

Услышав свое имя, пес усердно завилял хвостом, одобряя последние слова, потом принялся обнюхивать опавшие листья.

— Ах, какой приятный запах, — сопел он. — Можно его обследовать?

— Ищи, Пират, — сказал Миклош, но пес смотрел на хозяина, точно говоря: «Другие не в праве мной командовать. Я все понимаю, прекрасно понимаю, но слушаюсь только тебя».

— Ну, вперед, — погладил его по голове мельник. — Ищи гуся.

Пират в волнении принюхивался к слабому запаху, который сохранял гусиный след, затем, прихрамывая, двинулся в дальние кусты. После тихого шелеста наступила тишина.

— Молчите, — поднял руку егерь. — Верно, нашел.

— Он здесь! Здесь! — залаяла собака. — Уй-уй-уй, хр-р-р... кр-р-р!

Хотя Пират впервые имел дело с дикими гусями, раненой в крыло птице не удалось спастись. Пес попытался схватить ее за шею. Но гусь не любил, когда с ним так обращаются, и сердито клюнул противника в нос. От негодования забыв про свои раны, Пират с визгом и хрипом подмял под себя северного странника.

— Он здесь, он здесь, — положил он добычу у ног мельника, — хотя и больно клюнул меня в нос.

— Молодец, Пират, ты один сделал то, что мы не сумели вдвоем, — похвалил его Янчи и наклонился, чтобы взять птицу.

— Хар-р-р, хар-р-р-р, — ощерился пес. — Гусь не твой.

— Ты что, Пират, сбесился? Не узнаешь меня? — в испуге отступил рыбак.

— Очень жаль, — тихо, но решительно рычала собака, — но гусь не твой. Я его нашел, принес сюда, и он принадлежит моему хозяину. Только так и не иначе! Ур-р-р...

— Ну, тут уж ничего не поделаешь, — засмеялся Миклош. — Дядюшка Калман, несите домой гуся, думаю, вкусный будет, по виду словно еще молодой. Пират — отличная собака.

— Хр-р-р, хр-р-р! — рычал пес, в то же время помахивая хвостом. — Похвала нам приятна, но гуся не отдадим.

— Помолчи-ка, бессовестный, — топнул ногой мельник. — По правде говоря, я не могу принять подарка.

— С него надо содрать кожу, дядюшка Калман, а то сало под ней рыбой пахнет. А сдерете, тогда этот дикий гусь будет не хуже домашнего. У нас есть еще четыре. Вы обидите меня, если не примете подарка.

— Спасибо за подарок, заходите ко мне, поговорим за чарочкой.

— Сейчас не можем, заняты, — сказал Миклош.

Мельник взял гуся, собака тотчас подошла к хозяину. Она внимательно следила за рукопожатиями, а когда они пошли домой, она, прихрамывая, бежала позади, не сводя глаз с добычи, покачивающейся в руке мельника.

Рыбак и егерь вышли из леса. Янчи, который нес на плече трофей, лишь теперь нарушил молчание:

— Знаешь, Миклош, не будь я рыбаком, я с удовольствием стал бы охотником.

Миклош не сразу ответил; его мысли вертелись вокруг мельницы, он думал, правильно ли поступил, отказавшись от приглашения. «Да, правильно, — кивнул он головой. — Хорошенького понемножку, еще надоем им, а это ни к чему».

— Я тоже люблю свое дело, — отозвался он наконец, — хотя сражаться с таким огромным сомом — тоже немалое удовольствие. Он остановился. — Погляди-ка, пока мы охотились, погода переменилась. А мы и не заметили.

— Точно!

Налетевший ветер гнал над рекой обрывки тумана, крутил в лесу на земле опавшие листья и срывал те, что еще держались на ветках. Желтые, красные, коричневые листочки кружились в воздухе, как мертвые осенние бабочки, и когда ветер стих, шелестя легли на мягкое ложе из уже опавшей листвы.

Солнце едва светило, в лесу, где не было тени, трепет ужаса пробежал по тайным звериным тропам и хорошо утоптанной дороге.

В вышине каркали вороны; они взмывали и падали вниз, парили в воздухе, потом, вернувшись, сели на шелестящую крону старого тополя и настороженно съежились.

— Ка-а-ар, старый тополь, ка-а-ар. Приближается, приближается, разве не чувствуешь?

Старый тополь лишь постанывал во сне.

— Хорошо тому, кто способен сейчас спать. Приближает-

ся туча, приближается большая белая туча, приближается зима. Как гр-р-рустно, как гр-р-рустно!

Нахмурились и поля. Потемнели зеленыя и почернела коричневая свежевспаханная нива. Ветер принес откуда-то стаи маленьких птичек; их безжалостным бичом гнала перед собой зима, госпожа и служанка морозов да снегопадов.

На бороздах то здесь, то там мелькали какие-то серые пятна, исчезали и снова появлялись. Но приди кому-нибудь охота взглянуть на них вблизи, из-под ног выскочил бы заяц и, махнув коротким белым хвостиком, устремился бы навстречу непогоде. Многие называют его трусишкой за то, что он быстро, хорошо бегаёт, но людей — чемпионов по бегу считают героями, хотя те бегают только ради маленькой медали — иногда, правда, ради большого кубка, — в то время как заяц спасает быстрым бегом свою жизнь.

И как не бегать лопухому, ведь быстрые ноги — это его первое, главное средство защиты. Второе — плодовитость. Он же из грызунов, дальний родственник мышей и крыс. Не будь он таким плодовитым, из поваренных книг, к великому сожалению, давно уже надо было бы вычеркнуть «заячье филе с клецками».

Третье — прекрасные уши, которые иногда крутятся, словно крылья ветряной мельницы, внимательно прислушиваясь к шепоту утреннего ветерка и вою бури. Глазами заяц не очень-то славится, не многого стоит и нос. Но ни глаза, ни нос зайцу не особенно нужны: еды у него хоть отбавляй, и ему не приходится, как другим грызунам, бегать по чужому следу. Сидя в густой кукурузе, нужно сначала услышать, а не увидеть приближение опасности, — ведь когда увидишь, будет уже поздно.

Поэтому не будем считать зайца трусишкой. Просто он дорожит жизнью, но кто ею не дорожит? Лев, царь зверей, и то — нападает на человека только раненый или защищая своих детенышей, а обычно спасается бегством от него, как самый трусливый заяц.

Но сейчас спокойно дремлют зайчата. Под ними теплая земля, на них теплая шубка, а летающие враги, орлы и ястребы, ищут укрытия от ветра за толстыми стволами деревьев, в пещерах скал, на чердаках башен или у покосившихся труб заброшенных виноградных давлений — птицы не переносят ветра ни на земле, ни в воздухе.

А разве человек любит ветер?

— Знать бы, откуда взялся этот проклятый ветрище, — кричит Янчи.

— Что-о? — орет Миклош.

Вырвав звуки изо рта Янчи, ветер швырнул их прямо в уши Карака, который был чуть ли не в полукилометре от людей.

Старый лис даже не пошевелился: ему знакомы шутки ветра, однако по его спине, обросшей густой шерстью, пробежала дрожь, и он вспомнил о своей зимней норе. Прекрасно это холостяцкое, доступное ветру летнее жилье, но уже приближаются холодные свинцовые дожди с липким мокрым снегом, пора вернуться в семейную нору. Она недалеко: на небольшом холмике в камышах, где в тени старых деревьев тянутся к свету густые кусты.

Хотя мы и питаем слабость к Караку, этому хитроумному плуту, признаемся честно: нору, заменяющую ему крепость, он сам не делал и не завоевал в героической битве.

Она принадлежала барсуку, которого за молчаливость и серо-черную сутану называют обычно лесным отшельником. Во всяком случае, он мастер рыть норы и, не в пример некоторым другим отшельникам, славится необыкновенной чистоплотностью. Жилище себе он делает из нескольких комнат и обзаводится супругой и детишками, чем также отличается от пустынников.

Два-три месяца он проводит в зимней спячке, поэтому в отнорках, устланных мхом и листвой, хранит кое-какую еду. Входы в нору он на зиму не замуровывает; длинные разветвленные подземные коридоры обеспечивают ему возможность защиты и свежий воздух. Но в наших краях,

в Венгрии, среди зверей у барсука нет врагов, потому что, расшвыривая не на шутку, он способен искусать кого угодно.

Однако Караку удалось захватить его нору. Еще бы! Он и не пытался драться с воинственным затворником, который тут же его бы прикончил. Лис воспользовался тем, что барсук не терпит грязи. В норе у него уборной нет, свои дела он делает в сторонке и аккуратно закапывает помет. Барсучий дом был чистый, пах сухими листьями и мхом, пока Карак на него не позарился и не превратил в вонючую уборную, пользуясь отсутствием хозяина, уходившего раздобывать пропитание. Преисполнившись отвращения, барсук наконец покинул свое жилье и на другом краю камышовых зарослей построил себе новый дворец.

А Карак, сыграв свадьбу, с гордостью привел молодую жену в удобную нору, и на его плутоватой морде было, верно, написано:

— Прошу пожаловать, дорогая, в мой старинный родовой замок.

К сожалению, молодая супруга недолго наслаждалась там уютом. Однажды лунной ночью она услышала в ворохе камышей приятный мышинный писк, а надо сказать, покойница обожала мышинное мясо. Не раздумывая, она помчалась на прекрасный звук так, что даже не скрипнул затвердевший снег, но из-за вороха камышей точно лезвие ножа сверкнула молния, а звука выстрела бедняжка так и не услышала. В камышах прятался Миклош, и теперь уже он не пищал мышью, а говорил:

— Лиса небольшая, но, как смотрю, очень красивая.

И сейчас Карак слышит тот же голос:

— Что-о? Откуда взялся ветер? А почему я знаю!

На спине у лиса от страха шерсть встала дыбом, и он тотчас двинулся к своему старому жилищу. Он, разумеется, не бежал навстречу студеному ветру, а полз от одной уцелевшей от пожара кучи кустов к другой, не переставая прислушиваться к тому, что делают люди. Ветер донес до него постепенно удаляющийся топот башмаков.

— Одного гуся дай дядюшке Габору, другого — Анти,

а двух остальных заведи домой! — обратился Миклош к приятелю.

— А себе ты ничего не оставишь? — спросил потрясенный его щедростью Янчи.

— Тетя Юли ничего в дичи не смыслит, и у нас еще рыба есть, что вы дали.

У Миклоша не было семьи, родители его умерли, и он жил с тетей Юли, старушкой, дальней родственницей, которая ему готовила, но твердо заявила, чтобы он не приносил домой диких гусей: она не станет с ними возиться и сама в рот не возьмет. Диких уток ей тоже не надо, а зайцы, те просто воняют, и она не желает иметь с ними дела.

Миклош и не думал спорить с тетей Юли, она была женщина с характером и готовила только то, что сама любила поесть. Но если он, убив дичь, ел ее в чужом доме и по легкомыслию хвастался тете Юли, что прекрасно поужинал, она надолго переставала с ним разговаривать, и лишь доносившееся из кухни сердитое громыханье посуды выдавало ее недовольство.

Теперь нетрудно понять, почему он подарил гусей рыбакам, которые снабжали его рыбой, а о подношении мельнику и говорить нечего. Ну а потом, гуси еще только начали прибывать, с тревожным криком приближаются все новые и новые стаи, их несет на своих крыльях северный ветер. Он кружит в вышине, и птицы не могут уже держать строй, распадается клин стаи. Ветер подхватывает птиц, и они весело шумят, эти безбилетные пассажиры, ведь такая погода только в этих краях считается суровой, а у них на родине ее считают мягкой, приятной.

Одна за другой садятся стаи на посеы и, сложив крылья, птицы начинают завтракать.

— Гигига-лилик-лилик, — зовут они своих братьев. — Сюда, сюда!

— Мы тут, мы тут, гегега-ли-лик, — отвечают приближающиеся гуси и, подымая ветер парусом своих крыльев, садятся на землю.

Карак трясет головой: гусиный гогот, как далекая на-

дежда, летит к нему с высоты, и утренний выстрел подсказывает, что вечером надо обследовать берег.

А сейчас скорей в нору.

Не то чтобы лис боялся непогоды, бури. Что будет, того не миновать. Но когда обстоятельства неблагоприятны или приближается опасность, лучше спрятаться, и нора — прибежище более надежное, чем кусты или густые камыши.

Иногда, правда, жизнь в норе становится невыносимой, и приходится ее покидать. Вот, скажем, летом, когда плодятся и наглеют черные прыгуны-блохи. Но в это время года уже можно обойтись и без подземной квартиры. Лисята окрепли, и бродячая жизнь им нипочем. Летом где угодно можно пристроиться. Просторный шелестящий лес пшеницы, тенистая чаща камышей, заросли молодой ежевики и ломоноса — все это лисье царство.

В летнюю пору разумней оставить нору: из-за множества блох лисята в ней не едят, а только чешутся, и не спят, а мечутся из стороны в сторону. Царящую же там вонь не выдерживают и взрослые лисы. Ведь заботливые родители сносят в нору добычу; не доеденные детенышами кости и крылья протухают и издают такую вонь, что в один прекрасный день, простившись с блохами и домом, вся семья уходит оттуда.

Караку в прошлом году не пришлось растить малышей, — ведь егеря Миклош пристрелил его супругу, которую потом съели синицы. Странно, но факт. Дело случилось так, что Миклош, растянув по всем правилам лисью шкурку, тушку повесил на яблоню и сказал вертевшимся поблизости синицам:

— Ешьте, птички!

И маленькие птички своими острыми клювами, точно пинцетами, склевали с костей мясо, оставив один только лисий скелет. Потому что зимой этим трудолюбивым работницам нужны мясо и сало, жир и богатые жиром семена, хлеб же киснет у них в зобу и даже вредит организму.

Но лис давно уже забыл свою прежнюю жену, и его ни-

чуть не интересовало, особенно сейчас, чем питаются зимой синицы.

За камышами узкой полоской тянулось поле, и на зеленых паслись гуси. Карак видел их, когда они снижались, но только теперь заметил, как близко они расположились от камыша. Осторожные птицы обычно в таких местах не садятся, видно, на этот раз ветер прогнал их с открытого поля.

Глотая слюни, Карак направился туда: а вдруг какой-нибудь простодушный гусь еще ближе подойдет к камышам. . .

Лис выполз вперед, насколько позволяла скрывавшая его высокая трава. Ни один стебелек не шелохнулся, не послышалось ни малейшего шороха. Травинки, конечно, наклонились, словно их покачнул ветер, но это ускользнуло даже от зорких гусиных глаз.

Гуси продолжали усердно щипать траву. Одни сидели — быть может, они устали, — другие вразвалку ходили туда-сюда в восьми-десяти шагах от Карака, что было серьезным испытанием для его нервов. Признаемся, что этого плута так и трясло, когда ветер менял направление и теплый гусиный запах ударял ему в нос. Мышцы его напрягались, шерсть взъерошивалась, но он ничего не мог поделать: гуси были еще далеко.

Выдержка. . . Выдержка. . . Ведь наверняка какой-нибудь легкомысленный гусенок сделает два шага в его сторону, всего два гусиных шажочка. Но надо выждать! Поскольку гусям-гуменникам свойственна наследственная осторожность, терпение лиса подвергалось тяжелому испытанию. В раскосых его глазах поблескивали зеленые огоньки, зубы лязгали, по спине пробегала дрожь, но он терпел. . . как вдруг. . .

Гав-гав-ниф-ниф, тут, тут! — за спиной Карака раздался страшный шум, и на него камнем упал большой заяц.

Не будем выяснять, кто испугался больше. Гуси с шумом взлетели, собака замолчала, лис понесся по посевам к

дальнему лесу, а заяц, сделав огромный прыжок, выскочил из кустов и с головокружительной быстротой помчался по открытому полю.

Собаки — их было две — как сумасшедшие метались по следам то зайца, то лиса, то гусей. Все следы были еще свежие, теплые, но, запутавшись, собаки побежали в конце концов друг за дружкой, тупо глядя в лицо неудаче.

Гуси уже летели высоко в облаках, старый заяц мчался по лугу, а Карак, испуганно прислушиваясь, сделал круг по лесу и успокоился лишь когда собачье тывканье стало доноситься уже издалека, с реки.

Он лег на брюхо, глубоко вздохнул, и только с этим вздохом лиса покинуло сведавшее его волнение. О чем он думал и думал ли вообще, трудно сказать. Если и думал, то мысли его были спутаны, как заячьи, лисьи и гусиные следы для собак.

Заяц лежал, по-видимому, где-то недалеко, и собакам только благодаря завыванию ветра удалось настолько приблизиться и к нему, и к лису. Карак, пожалуй, мог бы поймать его, но это стоило большого труда, а лис был так напуган, что и не пытался. Он узнал лающих собак, овчарку и кривоногую дворняжку, помесь матери неизвестной породы с таксой. Эта полутакса отличалась лишь здоровой глоткой; однажды Карак подрался с ней, и она с воем умчалась восвояси — но в последнее время она завела дружбу с овчаркой, и от них теперь приходилось спасаться бегством. Овчарка, эта длинноногая убийца, тощая, кровожадная, бежала молча, и когда дворняжка лаем выгоняла какого-нибудь зверя из лесной чащи, хватала добычу. Она ловила даже самых проворных зайцев.

— Гав-гав, смотри-ка, смотри-ка, гав-гав, кто-то бежит, — доносилось издалека до Карака, но услышал это и Миклош.

— Пошли к берегу, быстро! — заторопил он Янчи.

Из обгоревшего камыша стремглав выскочил заяц и в паническом страхе бросился вниз головой в реку, за ним в трех шагах неслась овчарка, а позади трусила дворняжка.

— Гав-гав, где он, где он? — на бегу, высунув язык, взвизгивал маленький кобель.

Миклош поднял ружье.

Внезапный выстрел словно смел длинноногую овчарку с берега.

— Уй-уй-уй-уй! — возопила дворняга, на глазах которой молча скатился в реку ее товарищ по охоте; повернув назад, она попыталась удрать, но тут...

— Паф! — прогремело ей вслед ружье, и она упала возле обгоревших стеблей камыша.

Миклош вынул из ствола стреляные гильзы.

— Уже не первый месяц выслеживаю я этих двух псов. Знаешь, Янчи, что значат эти мои два выстрела? На сотню больше зайцев, фазанов, серых куропаток будет теперь в наших краях. Этот щенок их поднимал, а овчарка хватала, ведь овчарки охотятся молча. Этим-то они и опасны. Впрочем, по мне чьи бы они ни были, это мой долг. За это мне денежки платят.

Взяв овчарку за лапу, он оттащил ее в камыши.

— К весне от нее ничего не останется.

— Погляди! — вскинув голову, сказал Янчи.

Испуганный заяц вскарабкался на крутой берег и, отряхнувшись, одним прыжком скрылся в ракитовых кустах.

— Бедный лопухий! — пожалел его Миклош. — Если бы в другой раз на охоте узнал бы его, честное слово, не стал бы стрелять. Такой выносливый заяц должен жить и наплодить как можно больше зайчат. Видел, как он сиганул вниз головой?

Услышав выстрел и вой дворняжки, Карак скривил рот и, потянувшись, подумал: собаки эти ему больше не страшны. Потом осторожно пошел к норе.

Ветер слегка приутих, точно устал волочить горы туч, и густую кайму камышей хлестал мелкий снег. Порывы умолкающего ветра лишь изредка раскачивали верхушки деревьев, и слышно было, как на опавшую листву падают снежные хлопья.

Осмотрев окрестности норы, Карак понял, что там ничего не изменилось. Только кустики возле входа немного выросли, крапива засохла, и весь холмик нехоженым ковром покрыли опавшие листья. Да и кому здесь ходить? Холмик окружен водой и камышами, несколько стоящих на нем старых деревьев рубить никому в голову не придет, — сюда нелегко подъехать на телеге, а для костра всегда найдутся готовые дрова — сухие ветки. Миклош знал это местечко, не раз сидел тут летом в засаде, но норы не заметил.

Место удачней лису трудно было бы найти, но сейчас он не торопился, хотя и не знал поговорок: «Терпение и труд все перетрут» и «Тише едешь — дальше будешь».

Он присел на корень старого дерева и стал внимательно смотреть на один из входов в нору, наполовину прикрытый опавшей листвой. Потом сделал небольшой круг и так же изучил два других входа, поменьше, которые совсем не были заметны. Как видно, с лета никто сюда не приходил, и это окончательно его успокоило. Блохи — эти маленькие черные кровопийцы, переселились или погибли от голода после того, как лис ушел в камыши. Разразись теперь сильнейшая пурга, в доброй, старой норе ему все нипочем.

Тут на краю поля вспорхнул фазан, и Карак почувствовал, что птица в беде.

Лис растянулся на брюхе, и хотя не видел, но слышал, как толстый фазан с шумом пробирается среди густых ветвей, спасаясь от кого-то бегством. Когда беглец приблизился к Караку, тот увидел, что самку фазана преследует ястреб Килли. За старым деревом раскрытые ястребиные когти настигли жертву. Облако перьев в воздухе, глухой звук падения на землю, тихое шуршание опавших листьев.

Тут лис, точно его подтолкнули, отделился от дерева. Ястреб уже ударил фазана по голове, разжал свои железные ногти, желтые глаза его кровожадно сверкали, но при нападении Карака он с хриплым клетотом взметнулся в воздух.

Лис схватил птицу; несколько прыжков, и он скрылся в норе.

— Вот это охота! — сказал бы он, если бы умел говорить. — Думаю, Килли разозлился не на шутку.

И он не ошибся. Ястреб уже второй раз кружил над кучкой разбросанных перьев. Глаза его горели смертельной ненавистью, он осматривал место битвы, искал лиса, которому серьезно повредить не мог, но хотел не дать полакомиться фазаном.

А того и след простыл!

Ох, с каким удовольствием Килли вырвал бы его раскосые, плутоватые глаза, но куда ястребу тягаться с лисом. Он может, конечно, вцепиться когтями в шкуру Карака, даже выклевать ему глаза, но не больше. И это знают они оба. Впрочем, им нечего делить, они не мешают друг другу охотиться, и такие столкновения, как это, бывают редко.

Ястребу надоели бесплодные поиски; взлетев на ветку старого дуба, он застыл в неподвижности, и со стороны казалось, что это обломанный толстый сук, серый и безжизненный. Падал снег, затягивая лес сероватой дымкой, а Килли все смотрел в одну точку. В кустах копошились две синицы, поодаль стучал клювом дятел, иногда мелькала его красная шапочка и черно-белые перья, за лесом пронеслась стая серых куропаток, но ястреб уже не видел, сели они где-нибудь или нет.

Он не шевелился, но его раздражало присутствие синичек, дятла и куропаток. Он был голоден, но синиц сразу отверг.

Без каких-либо подсчетов он понимал, что один дятел стоит десятка, одна серая куропаточка — трех десятков синиц. Кроме того, синицы забрались в такую чащу, где невозможно охотиться.

Оставались дятел и сомнительные куропатки. Дятел то выстукивал грудную клетку больных деревьев, то обследовал их руки-ветви. Его стук указывал, где водятся разные червячки-вредители, которые, просверливая длинные ходы под корой, поглощают древесину. Деревья от этого

которые он сбросит только весной. Под тихое шуршание снега будто спали кусты и покинутые гнезда; в черной пасти одного из дупел отдыхала куница; в земле, в семенах, затаились миллионы жизней. Цветам и деревьям, которые вырастут из этих семян, предстояло, быть может, прожить долго, в пять-шесть раз больше, чем человеку.

Семена заключают в себе тысячи разных особенностей, будущий цвет, запах, вкус растения, что из них вырастет. И великое множество свойств своих предков, их силу и слабость, красоту и бесформенность. В одних из этих спящих малюток живет тонкая, как спичка, травинка, в других — двадцатиметровый тополь, из которого, быть может, изготовят миллион спичек. Зимой, когда шелестит падающий снег, и весной, когда посвистывают дрозды, всегда и все, развиваясь и погибая, служит самой большой на свете тайне, тайне жизни.

Из этого закона не составляет исключения и Карак, который, судя по всем признакам, сыт и, по-хозяйски расположившись, спит в своей очистившейся от блох норе.

В удобном надежном доме можно спать крепким сном, не то что в летней квартире. Осыпавшийся песок скрыл остатки прошлогодних костей и перьев, убрать нору помогли муравьи и другие насекомые, питающиеся всякими отбросами.

Лис и во сне чувствует, что вокруг все спокойно. Ветер стих, и теперь мягкие крупные хлопья снега бесшумно падают на землю.

Лес бел, все вокруг бело, и большие черные пятна обгоревших камышей скрылись под пушистой белой пеленой. На полях еще виднеются зеленые всходы, поэтому дикие гуси не беспокоятся. Зайцы лежат не шевелясь. Не беда, что идет снег, под ним не замерзнешь. Если эскимос живет в ледяной хижине, почему не жить зайцу под снегом? Шерстка у него сухая и хранит тепло тела. Она защищает от холода. Даже большой снегопад зайцу не страшен: от горячего дыхания снег перед его носом тает, и через это

маленькое отверстие он дышит. И обнаружить зайца под снежным покровом так же трудно, как Карака в его глубокой норе.

Иногда над отдушиной пробегают тени, но заяц даже не шевелится, словно знает, а может быть, и в самом деле знает, что его не видно. Да и кто тронет его? В этих местах редко появляются большие орлы, а канюки ни здешние, ни пришлые не опасны.

На одной придорожной акации сидят два сарыча. Один родился здесь, а другой — далеко на севере, где-то в тундре, и теперь они с подозрением смотрят друг на друга. Они родственники, но, возможно, и не подозревают об этом. Чистят перышки, прислушиваются, нет ли поблизости людей.

— Давай полетим на юг, — встряхивается здешний, простой, обыкновенный сарыч, — там больше еды. И будет теплей.

— Еды нам хватит и тут, — потягивается другой сарыч, зимняк. — Ты говоришь, там теплей? И тут не будет холодно. В наших краях теперь нечего есть, все замерзло и побелело. А здесь хорошо.

— Ну, что ж, — раскрывает крылья первый. — Хватит нам здесь мышей, не всех еще мы истребили.

Он взмывает к облакам и, равномерно махая крыльями, пускается в путь на юг. Его северный родич некоторое время смотрит ему вслед, потом, отделившись от дерева, делает небольшой круг, изучая местность. Он прилетел сюда вчера вечером, переночевал на большом вороньем дереве и теперь отправляется на поиски пищи, ведь в животе пусто, а ветер стих.

Снег перестает падать, поэтому зимняк кружится довольно высоко и, распластав крылья, обзревает реку и окрестности. Вдоль берега тянется узкая полоска леса с высокими большими деревьями. Стало быть, там можно отдыхать и спать. В рожице Карака тоже есть несколько старых деревьев, но они возле камышей. Подалее блестят озера и темнеет большой бор, где он ночевал. Слева дымит

деревня, видны отдельные строения у реки, мельница и дом мельника.

Зимняк снизу кажется почти белым; он так же, как и простой канюк, трудится на полях — очищает их, поедая вредителей посевов. Когда прилетает зимняк, обыкновенный сарыч улетает; весной здешний сарыч возвращается с юга, а зимняк отправляется на свою северную родину.

— Пост сдал, — как бы говорит он.

— Пост принял, — отвечает прилетевший.

И если бы не они, мыши избаловались бы и сгрызли все вокруг.

В мягкую зиму случается, что сарыч, родившийся в Венгрии, здесь и зимует, не улетает на юг и кобчик, и тогда жизни мышей постоянно угрожает опасность. Днем за ними охотятся сарычи, ночью хорьки, ласки, лисицы. И тогда весной мышиному народу очень надо стараться, чтоб возместить нанесенный ему зимой урон.

Но вот снегопад стих, в воздухе носятся лишь редкие снежинки. Зимняку надоело осматривать окрестности; он снизился до привычной высоты и стал бить крыльями, как его улетевший сородич.

— Ге-ге-ге, га-га, и Къё прилетел. Видно, надоело ему мерзнуть у себя на родине.

Кто знает, говорят или не говорят так гуси, а может быть, даже прибавляют:

— Здравствуй, зимняк! Ты что, замерз в своих штанишках? Что нового дома?

«Наглая орава!» — думает сарыч и, описав красивую дугу, не без презрения покидает ватагу большеротых лапотников.

Как мы ни уважаем зимняка за его когти, крючковатый клюв и хищный нрав, гуси его ничуть не боятся. И зайцы тоже. Трусишка Калан, защищая на своем лежбище детенышей, и то лапами отбивается от этого врага. И надо сказать, что иногда за сарычами гоняются даже безобидные серые куропатки.

Случается, правда, сарычи опустошают птичьи гнезда, уносят беспомощных зайчат, но тут уже виноваты родители. Надо лучше смотреть за детьми!

Однако к осени детеныши подрастают, и северный странник питается главным образом мышами. Он уже успел поймать одну, а теперь снова снижается, да так, точно шагает по гигантской лестнице. Пикируя с большой высоты на землю, он бы разбился, поэтому при снижении время от времени останавливается и только с последней ступеньки, раздвинув когти, бросается вниз.

— Ци-ци-ци, — тихо пищит мышь, но тут же стихает.

Птица несет ее на одиноко стоящую акацию, обычно служащую сарычам столовой.

Полдень уже позади. Далекий колокольный звон пронесся над полями, и зимняк с подозрением прислушивается, — ведь в тундре не звонят в колокола. Звук, конечно, непривычный, но не таит в себе опасности, и он понимает, что в этих краях звон — дело повседневное.

Опасность — не для него, а для Миклоша — возникла совсем в другом месте в лице тетушки Вилце, хозяйки покойного рябого петуха.

Поев отменной лапши с творогом и шкварками, приготовленной тетей Юли, Миклош вытер рот и под усыпляющее потрескивание печки раздумывал, закурить ему трубку или лучше подремать на диване. Он очень рано вставал и поздно ложился, ведь рабочий день егеря тянется долго. Ел и спал, когда придется.

А сейчас мечтал поспать.

Но одно дело мечта, а другое — суровая действительность.

Суровая действительность в образе повязанной платком старушки прошла по сениям. Ни о чем не подозревая, Миклош прислушивался к тихому разговору, который слился с голосами моющих кастрюль и крышек.

— Дома, понятно. Может статься, уже спит. Ни днем, ни ночью нет у бедняги покоя.

«Ох, кого же это черт принес? — подумал егерь и лег поскорей на диван. — Во всяком случае, я уже сплю...»

— По мне, пожалуй, пусть спит, но он, Юли, тут для того, чтобы следить за порядком. Я этого так не оставляю...

— Вечерком я пришлю его к тебе, — заступилась за Миклоша тетя Юли. — Он только что домой пришел.

— Мне что за дело, когда он пришел. Такого петуха еще не было у нас в деревне и не будет. Пускай придет, поглядит, перья разбросаны... Он обязан принять меры.

«За это тебе денежки платят», — вспомнил Миклош, ломая голову, кто эта старуха, которая ворвалась в дом, не дает ему поспать после обеда.

Тихий стук в дверь — его егерь пропустил мимо ушей, — а вдруг... есть же на свете сострадательные люди. Но тетушка Винце не унаследовала от матери сострадательного сердца.

— Постучи погромче, а то он не слышит.

— Миклош, — заглянула в комнату тетя Юли, — Миклош, сынок, тут пришла тетушка Эржебет насчет своего петуха.

— Я не торгую курами, — сердито сказал егерь.

— По мне, и не торгуй, да какой-то зверь унес у меня ночью рябого петуха.

— Или человек, — зевнул Миклош.

— Нет, зверь. Человеку его не поймать, петух сидел на самом верху поленицы. Там и остались его перья.

— Ну что ж, тетя Эржебет, запирайте кур в птичник.

— Теперь уж буду запирать. Приди ко мне, погляди да застрели зверя. Говорят, для того егеря и держат в деревне. Сегодня зверь унес петуха, завтра унесет курицу.

— Послезавтра — корову, — огорченный Миклош поднялся с дивана, ведь от старухи невозможно было отвязаться.

Сонливость пропала; он оделся, взял рюкзак, повесил через плечо ружье.

— Пошли, тетя Эржебет. Коли так срочно...

Снег перестал идти, но и выпавшего хватило на то,

чтобы скрыть следы. Миклош внимательно осмотрел двор, но не обнаружил ничего, кроме разбросанных перьев.

— Тетя Эржебет, у вас есть кошка?

— Ей не поймать петуха. Была у меня и собака, но пропала куда-то.

— Я вот почему спрашиваю: вечером я поставлю тут капкан, как бы кошка в него не попала. Короче, закройте ее и предупредите соседей.

Потом он переложил поленья так, чтобы только в одном месте можно было забраться по ним наверх, где он решил поставить капкан для лисы. Хорьку трудно одолеть большого петуха, если б он был виновником, остались бы следы крови и больше перьев, ласка не в силах унести петуха. Поэтому Миклош подозревал лисицу.

— Вечерком приду, — пообещал он. — Но не прикасайтесь к капкану, это опасная штука.

Пройдя через сад, он вышел на заснеженное поле, ведь свежий снег все выдаст. Даже кружащие в воздухе птицы садятся на землю, а четвероногие пишут на белом полотне целые истории о поисках пищи, бегствах, перелетах и кровавых трагедиях.

Но этот снег выпал днем, когда ни один зверь не вылезает из своего логова. Однако, раз выспаться ему не дали, Миклош решил внимательно осмотреть все вокруг: вдруг что-нибудь да обнаружит... И для капкана надо было пристрелить ворону или раздобыть еще какую-нибудь приманку.

Тропинка, покрытая тонким слоем снега, была скользкой, идти по ней было неловко, но Миклош не спешил: кто торопится, ничего не видит. А кто передвигается на колесах, тем более.

В реке бесшумно бежала холодная вода. Не слышно было больше игривого плеска рыб, и на песчаных берегах не грелись на солнышке пучеглазые лягушки. Явыки полей побелели от снега, и на них ни единого следа. Не видно уже островков обгоревшего камыша, только серое сплетение ракушечника хранит какую-то тайну. Там притаилось не-

сколько фазанов, зайцев, ласок, может быть, и лисица. Ведь, помимо мастера Карака, и у других лисиц есть охотничьи уголья в этой округе.

Остановившись, Миклош внимательно осматривал снежные просторы. Вокруг пробуждается жизнь, всем надо поесть: приближается ночь. Егерю знакомы разные шорохи, и по полету он знает, какая птица вьется над полем или порхает в лесной чаще.

Вдруг он схватил ружье, но тут же сообразил, что уже поздно. Едва слышное мягкое скольжение, испуганное чириканье овсянок, и соколог, унося добычу, молниеносно исчезает. Он летел, будто серая лента волочилась по воздуху: всего в полуметре над землей; казалось, вспорхнувшая жертва сама кинулась в его когти.

Миклош только присвистнул; так поймать овсянку было уже не просто мастерством, а искусством.

Этот соколог родился на крайнем севере и у нас, в Венгрии, гостит только зимой. Он — гроза для маленьких птичек, но нападает и на небольших диких уток, они самая крупная его добыча. За стаями перелетных птиц он следует в Южную Европу, а в марте возвращается на родину. К великому сожалению Миклоша, соколка редко удается взять на мушку: он появляется в поле зрения всегда внезапно, и пока охотник целится, уже исчезает. Когда маленькие зимние труженики, хохластые жаворонки и овсянки летят в деревню, соколог летит за ними, но хватает он и голубя, ворону, сороку и даже стучащего по фруктовым деревьям дятла.

Миклош постоял некоторое время в раздумье: хорошо бы соколог вернулся. Но такие желания редко сбываются.

Вокруг убитых вчера собак собралось целое скопище птиц. На старой иве совещались серые вороны, и неподалеку на кусте взволнованно стрекотали две сороки.

— Пора уже начинать, — верещат сороки. — У нас хорошие, крепкие клювы.

— Так-так, — кричит сойка. — В камышах уже давно не было двух таких огромных туш.

— Человек-человек, — затрещала одна из сорок, и в ответ взлетает вся орава.

Миклош обходит вокруг мертвых собак.

«Тут им не место», — думает он и оттаскивает их подальше в заросли.

Из камышовых снопов он делает шалаш. Потом вспарывает собакам брюхо и прячется в своей засаде; не затем, чтобы охотиться, а чтобы испытать шалаш и осмотреться.

Шалаш неплохой, но кое-что надо подправить. Утоптать под ногами камыш, чтобы он не трещал, лишние щели заткнуть, — ведь когда сидишь в теплой комнате, завывание ветра кажется приятным и дружелюбным, а здесь — враждебным и леденящим.

Некоторые снопы обгорели во время пожара, но не беда, тем естественней они выглядят. Дичь отпугивает всякая новизна.

Собаки удачно лежат, в них удобно целиться, и теперь их распоротое брюхо привлечет крылатых могильщиков: вороны и сороки не могут сами разорвать промерзлую собачью кожу и добраться до мяса. «Хорошие потасовки будут тут между серыми воронами и грачами, — улыбается егерь, — а потом появятся сарычи и разгонят их. Следы расскажут, когда придет на даровое пиршество лисица, о нем она узнает не только по запаху, но и по шуму среди бела дня».

Потом егерь задумывается уже не о лисице, а о субботнем ужине, или, точнее, не будем ходить вокруг да около, точно лиса вокруг капкана, — Миклош думает об Эсти. Глубоко погруженный в мечты о будущем, он не заметил бы даже налетевшего на падаль орла-бородача, а не то что жалкой серой вороны, которая тихонько села на землю возле собак, не желая никому выдавать своего открытия. Эта серая ворона, только что сюда прилетевшая, не видела, как Миклош делает засаду, однако кое о чем подозревала.

Миклош же ни о чем не подозревал и думал, когда ему

объясниться с родителями Эсти. И как? Но сначала надо поговорить с девушкой, теперь уж серьезно.

Но вот, оторвавшись от этих приятных мыслей, он посмотрел в щелку.

— Да как же ворона тут очутилась?

И осторожно поднимает ружье.

Он с удовольствием наблюдал бы еще, ведь книгу зимней жизни лугов можно читать преимущественно в это время, и чтобы ее прочесть, мало одной жизни, но зимний день короток, и ворона нужна для капкана.

Сонную тишину сумерек разрывает треск выстрела.

— Ка-а-р, что случилось? Ка-а-ар! — вскрикивают в стороне вороны, но, ничего интересного не видя, не приближаются.

Вскоре Миклош покидает шалаш. Одну из собак он отодвигает чуть подальше. В рюкзаке у него трехногая скамеечка и ворона. Он спешит выбраться из горелого камыша. Хорошо бы пошел небольшой снежок, скрыл его следы, уничтожил запах сапог, но ветер стих, и синеватый туман над полями обещает холодную ночь.

На околице дымкой окутаны яблони, и на дорожке видны следы охотника. Весной тут все заполонит солнце и зелень, крик детей и гусей. Старые гусаки, ковыляя, будут глядеть на небо, высматривая коршуна, а гусята с удовольствием щипать сладкую травку. Такую же сладкую, как молодость. Ребята станут плести цепочки из стеблей одуванчика, выделяющего горькое молоко, которое хоть раз в жизни все отведают. А недоверчивые и любознательные даже не раз.

Но весна еще далеко, а тетя Эржебет близко и, приложив руку ко лбу, следит, как Миклош приближается к ее дому.

— Это ты, Миклош?

— Добрый вечер! — говорит егерь, считая вопрос тети Эржебет праздным. — Куры уже сели на насест?

И этот вопрос оказывается праздным, ведь куры сидят на шелковице, вытянув от любопытства шеи.

Сняв рюкзак, Миклош достает оттуда ворону, капкан и жестянку с заячьим салом.

— Что это?

— Заячье сало, — отвечает он. Я смажу им капкан, и тогда ни лисица, ни хорек не почуют запаха моих рук.

— Ну да?

— Точно.

Выдернув из вороньих крыльев несколько больших перьев, он делает в тушке птицы несколько надрезов, затем кладет ее в капкан и заряжает его.

— Готово дело. Но предупредите соседей, тетя Эржебет, а то как бы не изувечился какой-нибудь ребенок.

— Сюда никто не ходит, а мои куры...

— Когда ваши куры слетят с дерева, капкана здесь уже не будет. Я повешу его в хлев, а опять поставлю лишь вечером. Авось кто-нибудь попадетя.

— Хорошо бы. Зайди, Миклош, в дом, выпей стаканчик.

— Спасибо, тетя Эржебет, но сейчас мне нельзя, есть еще дела.

Наконец он добрался до дому. Комната приняла его в свои теплые объятия. Он был на ногах с четырех часов утра, и теперь ему вдруг до одурения захотелось спать. Он сел, скинул сапоги.

— Тетя Юли, если загорится дом, разбудите, сам я не проснусь.

Взяв лампу, старушка посмотрела по сторонам, и когда закрыла дверь, Миклош уже был в постели.

«Утречком рано я пойду... пойду...» — И мысли его покатались в пропасть сна.

Потом пропасть исчезла, все исчезло, и сны провалились куда-то.

Было уже часов около восьми, по-деревенски это поздний вечер, почти ночь.

Деревенские жители — лентяи, может подумать читатель-горожанин и решит, что Миклош спит вдвое больше, чем порядочный работающий человек.

Но ведь он в четыре утра был уже на берегу реки, а лег

спать в восемь вечера: выходит, шестнадцать часов провел на ногах. А бывает, встает в два часа ночи и лишь в десять вечера попадает домой. И жжет его солнце, продувает ветер, сечет дождь и пробирает до костей мороз. Часто, к великому огорчению тети Юли, он вообще не приходит домой; поест на ходу сала, вадремнет немного на камышовом снопу или прислонившись спиной к замшелому дереву.

Егерь, как и звери, которых он охраняет и на которых охотится, не располагает своим временем. Часть зверей живет дневной, часть ночной жизнью, и Миклош ни днем ни ночью не может сказать, посмотрев на часы: «Кончилась моя рабочая смена». Егерь вынужден приспособливаться к животным, есть и спать, когда придется. И многое ему надо знать, что познается лишь на опыте, при постоянном наблюдении.

Трава и деревья, облака и звезды, луна и ветер, снег и дождь, тепло и холод... запахи, шорохи, голоса, плеск воды, восход и закат солнца, пашни и нивы, дороги и тропы, следы на песке, снегу, в грязи — все о чем-то говорит, торопит или задерживает, предупреждает, обещает, скрывает и выдает тайну, и егерю, если он знает свое дело, приходится быстро ко всему приноравливаться, как и лису зайцу, выдре.

Нередко случалось, он уже приближался к дому (живот подвело, уши побелели от холода, ноги едва передвигаются, как у робота, в котором кончился завод, и при мысли о постели он готов задремать на ходу), как вдруг:

— Ого! Что это?

На околице, возле забора тети Юли на тонком слое снега виднеются куньи следы. Вчера днем Миклош ушел из дому, а сейчас утро следующего дня. Светает. Перед ним многообещающие следы, у куницы ценная шкурка, а чуть подальше — дом, где его ждет постель, горячий чай, а то и глинтвейн.

— Вперед! — говорит в Миклоше егерь, у которого любовь к своему делу неотделима от охотничьего азарта, и,

отказавшись от верного отдыха, он устремляется за неверной добычей.

— Вперед!

Следы идут от сада к саду, от сеновала к конюшне, от птичника к пасеке, потом в поле и обратно к деревне, где их уже затоптали встающие с петухами люди. Ну что ж, надо кратчайшим путем вернуться назад и найти их продолжение. Оказывается, следы ради разнообразия поворачивают в виноградники.

Уже близится полдень; солнышко слегка пригревает, то здесь, то там выглядывая из-за туч.

— Вперед! — обливается потом егерь и вдруг останавливается, оказавшись на южном краю поля, где растаявший снежок поглотил следы.

Когда Миклош подходит к дому, у него от усталости подкашиваются ноги.

Тетя Юли поносит весь род куниц вместе с их дальними родичами, поносит и Миклоша, что живет он как бродячий комедиант и превосходную ее яичницу глотает даже не чувствуя вкуса.

— А я ведь на сливочном масле ее жарила. Ну ладно, иди-ка спать, шалопутный.

Миклош, точно мешок, валится на кровать и даже не слы-



шит, как кто-то шумит на кухне, твердя, что ему необходимо срочно, немедленно поговорить с егерем.

Да, такова жизнь егеря!

Однако она прекрасна, притягательна, и кто для нее создан, ни на что ее не променяет. А кунья шкурка вместе с лисьими в конце концов попадет в сушильню; добыча не переводится, и пока у егеря верный глаз, острый слух и крепкие мышцы, не прекратится эта игра.

Но не будем нарушать ход событий.

Сейчас ночь, вернее, восемь часов вечера, и Миклош спит глубоким, непробудным сном. Глубина его бесконечна и ни с чем не сравнима. Короче, он спит крепко, как спят обычно усталые здоровые честные люди.

А жизнь вокруг только начинается, ночные охотники идут на добычу, за мясом или растительной пищей, лесными семенами и плодами. Некоторые питаются тем и другим: например, кровожадная куница способна перебить все население птичника, но охотно ест и виноград, и разложенный на чердаке чернослив. Прирученная куница схватит застреленного воробья, но тут же бросит его, польстившись на кусок сахара, который прячет в кармане хозяин.

Живя на свободе, она может причинить большой вред, и поэтому человек ее преследует. А кроме того, охотится за ее ценной шкуркой. Красивая и прочная, она стоит дюжины лисьих. Куница селится и плодится на чердаках, под соломенными крышами, в заброшенных погребах, но в руки редко дается.

Тень есть всегда, даже в такой лунный вечер, как сегодня, а куница — тень в тени.

Однако сейчас Миклошу не до нее. Он целиком погрузился в сон, и лишь на заре его разбудит тетя Юли, которую в четыре часа будит ее ревматизм.

Хотя над полями еще колышется вечерний туман, полнолуние предвещает холод. Звезды еще не сверкают, как обычно при сильном морозе, и снег не захрустит, если кто-

нибудь пройдет по берегу реки. Но егерь спит, а кроме него, другие люди не бродят в эту пору по окрестностям.

«Ба, как все кругом переменилось!» — думает Карак, выглядывая из северного выхода норы.

Отдохнув от дневных треволнений, совершенно забыв о съеденной самке фазана, готовый к любым приключениям лис смотрит на заснеженный лес. Смотрит, слушает и принюхивается. Все в порядке, однако он не торопится. Сперва медленно высовывает из отверстия голову, потом, наконец, целиком выползает наружу, и его плутоватый взгляд натывается на шар, попавший каким-то образом на молодое деревце. Из шара торчит длинный язык, и Карак знает, что это спит фазан-петух, он слышал вечером, как тот с шумом сядил на дерево, к сожалению, очень высоко.

Экая жалость, что неправда старая сказка, будто однажды лиса до тех пор не сводила глаз с сидевшей на дереве птицы, пока та в беспамятстве не свалилась с ветки. Короче, лисица ее загипнотизировала.

Карак, к сожалению, об этом не знает, но зато знает все, что касается охоты. И не может смотреть в закрытые глаза фазана, который спит на шестиметровой высоте. Тут бесильно всякое колдовство, и нечем ему заполнить место в желудке, освободившееся от самки фазана.

Карак выползает на опушку лесочка и, присев, долго смотрит по сторонам. Вокруг безусловно красиво и пустынно. Но красотой сыт не будешь, и он идет, крадучись, по глубокой борозде, останавливаясь возле каждого островка сорной травы и полевого синеголовника, сливаясь с ними.

Гоп! Лис подпрыгивает словно на пружинах и, когда приземляется, под его лапами шевелится комок, который вместе со снегом отправляется в лисью пасть. Мышка, прятая в сугробе, хотела, видно, навестить родню, но качнулся стебелек, и Карак накрыл ее лапой.

Все ярче блестит луна, и сверкают снежные поля. Лиса это ничуть не радуется: теперь он видит, конечно, лучше, но

и его лучше видно. А кто знает, смотрят на него или нет? Вдалеке бредет заяц, и, не тратя попусту времени, Карак бежит по тропке под укрытие обгоревших камышей. На открытом поле, освещенном бесстыжей луной, он чувствует себя точно раздетый. Поэтому, заползя в камыши, прячется между кочками.

На прогалинке Карак ненадолго останавливается, прикинув к земле. Тут что-то изменилось: этого вороха камыша вчера еще не было или он по-другому выглядел. Медленно-медленно пробирается он вперед. И тут ему ударяет в нос остывший знакомый запах псины. Это уже не теплые испарения живой добычи, а вонь промерзлого разложившегося мяса.

Нужна осторожность, хотя вокруг ни единого признака жизни и в воздухе не ощущается опасности. Карак чувствует какую-то неопределенную связь между позавчерашней пальбой, визгом и этим запахом, но по-прежнему настороже. Он видит темный холмик, двух дохлых собак и, дрожа от негодования, видит и нечто иное.

С другого края прогалины среди обломанных стеблей ему навстречу идет лисица. Карака трясет от ярости: непрошенная гостья только портит охоту. Но он не трогается с места, его успокаивает, что лисица ведет себя неосмотрительно. Она не обращает никакого внимания на подозрительный ворох камыша, стало быть, успела изучить его с задней стороны.

Карак прикивает к земле.

Чужая лиса садится, как видно, только сейчас почуяв запах псины, потом не спеша ложится, словно желая устроиться поудобней и выяснить, чего ей ждать, добычи или какого-нибудь человеческого коварства. Она долго сидит неподвижно. Карак время от времени нервно подергивает хвостом, а лиса все терпеливо ждет, поводя ушами, когда деревенские петухи извещают о приближении полночи.

Во рту у Карака скопилась слюна, и пустой желудок предъявляет настоятельные требования.

Наконец чужая лисица встает и пытается на некотором

расстоянии обойти вокруг дохлых собак, но этого Карак уже не в силах потерпеть. Когда непрошенная гостья подходит ближе, он бросается на нее. Та моментально отпрыгивает в сторону и, повернувшись к нему мордой, ощеривается:

— Что, хочешь сцепиться со мной? Давай!

— А ты не могла бы поохотиться где-нибудь в другом месте? — поводит он ушами уже более миролюбиво.

— Я хочу здесь охотиться.

Приготовившийся было к нападению Карак садится, точно говоря:

— Места нам обоим хватит.

Нельзя сказать, чтобы в нашем плуте была бы хоть капля рыцарства. Он не отличался ни деликатностью, ни сердоболнием, а его необычная уступчивость объяснялась тем, что перед ним стояла самка.

Хотя время свадеб еще не наступило, но оно уже приближается, и это чувствуют обе лисы.

Карак сбоку подходит к самке, та поворачивает к нему голову, но мышцы ее по-прежнему напряжены. В глазах сдержанный блеск, что говорит и о дружеских намерениях, и о боевой готовности.

Тогда Карак обнюхивает ее, почесывается.

— Но больше никого к добыче не подпустим!

Затем следует взаимное обнюхивание, как видно, вполне дружелюбное.

Лисы молча знакомятся, и они уже не забудут запах друг друга.

Карак делает несколько шагов, но гостья не следует за ним. Она садится и голодными глазами смотрит на падаль.

Лис возвращается обратно, словно предупреждая, что дохлые собаки подозрительны, однако лисица по имени Инь не трогается с места, будто говоря:

— Здесь сможешь меня найти.

Караку нравится ее самостоятельность и, несмотря на вновь вспыхнувший голод, он весело трусит к деревне, куда влекут его приятные воспоминания.

В тени заборов к нему возвращается необходимая осторожность, хотя он и чувствует: можно смело идти вперед. Собаки уже замолчали — полночь далеко позади, — дым из труб не примешивается к запахам, и в лунном свете далеко видно. Дойдя до ветхой изгороди тетушки Винце, он заворачивает в ее сад, словно к себе домой. Там в землю врыта бочка — в ее тени Карак припадает к земле, — куры сидят на дереве, а на поленнице виднеется дохлая серая ворона.

Подозрительно!

И поленница выглядит не так, как вчера.

Это тоже подозрительно.

Надо выждать, пока что-нибудь прояснится. В соседней конюшне иногда бьет копытом лошадь, и в хлеву скрипят доски, когда большая свинья переворачивается с боку на бок. Звуки все знакомые и неопасные.

Тут из соседнего сарая выходит темный зверек и, стряхивая снег то с одной, то с другой лапки, бредет по саду. Это большой черный кот.

— Он еще далеко, — дрожит лис и, поскольку ему ничего больше не остается, следит за котом: а вдруг он сюда повернет.

Но кот, подойдя к поленнице, долго смотрит на ворону. Потом, став на задние лапы, обнюхивает ее и . . . Карак от ужаса чуть не падает навзничь. И даже добежав до реки, не может окончательно прийти в себя.

Он не понял, что произошло, но будет долго обходить стороной двор тетушки Винце и не притронется к дохлой вороне.

Ведь кот, принявшись, сделал грациозный прыжок и очутился на вороне, но тут точно сверкнула молния, раздался щелчок, и никакие вороны впредь не будут уже интересовать кота.

У Миклоша не было лисьих капканов, и он поставил на поленнице большой капкан, предназначенный для выдр. Поэтому кошке, по крайней мере, не пришлось долго мучиться.

Карак от волнения даже о голоде забыл; оглядываясь по сторонам, он заполз в камыши.

«Смотри-ка, Инь ест», — предав забвению случившееся, весело подумал он и как ни в чем не бывало принялся тоже пожирать собаку, ту, что была поменьше и потолще.

Лисица-гостья, успев набить брюшко, ела уже неохотно и вопросительно посматривала на Карака.

А он, помахивая хвостом, впился зубами в собачье ребро, точно это был медовый пряник. В этом был его ответ даме.

— Хватит ли нам обоим места? Да здесь еще полдюжины лисят могут резвиться.

Потом Инь растянулась на животе — она не могла больше проглотить ни куска — и положила голову на передние лапы. В этом движении было обещание принадлежать друг другу, короче, готовность заключить брачный контракт.

— Ешь, Карак, — как бы говорила она, — а я посто-рожу.

И когда петухи прокричали зорю, две сытые лисицы побрели в сторону камышей. Они шли, словно давно уже знали друг друга, и гостья заползла в роскошную нору Карака не раздумывая, будто родилась в ней. Она обнюхала все прихожие, залы, потом, удовлетворенная, с сытым урчанием улеглась возле лиса.

Время одному приносит радость, другому боль. Когда Инь закрыла глаза, тетя Юли открыла. И растерла ноющие от боли плечи.

— Не оставляешь меня в покое, проклятая хворь, не оставляешь? Это Миклошу, а не мне пора вставать.

Голос ее растворился во мраке. Затем последовала какая-то возня, чирканье спички, наконец сонно, точно еще продолжался вчерашний вечер, загорелась лампа.

— Ох, ох! — вздыхала старушка. — Сделаю-ка я мальчику яичницу из пары яиц, а то уйдет голодный, у него на это ума хватит.

Когда в кухне зазвенела сковородка и щелкнула печная дверца, егерь начал выплывать из глубин сна. Он задышал чаще и проглотил слюнки, ведь запах яичницы с салом

проник через замочную скважину в комнату и сосредоточил его разбежавшиеся неясные мысли.

— Миклош, уже четыре часа, — заглянула в дверь тетя Юли.

— Да, — отозвался он и продолжал бы спать, если бы кнут долга и вчерашние планы не прогнали желание понежиться в кровати.

«Куница... — всплыла мысль, — куница в капкане».

Миклош сел и тупо уставился на щель в двери, через которую проникал в комнату свет. Из кухни доносилось тихое шипение сала на сковородке и аромат лука.

Егерь так потянулся, что чуть не вывихнул себе руки, и одним прыжком покинул постель.

Его ждало прекрасное, полное приключений утро.

После завтрака — великолепной, насыщенной запахами и вкусами яичницы тети Юли, — он подумал, что дома в это утро его уже ничего хорошего не ждет, но ошибся. Старушка, налюбовавшись на уписывающего за обе щеки Миклоша, достала с полки бутылку и налила ему полстакана.

— Ой, тетя Юли, слишком много, — ощутив крепкий мужской запах виноградной водки, сказал он.

— Да не такой ты парень, чтобы...

Теперь мог благополучно начаться день.

Миклош постоял в сенях, дав глазам привыкнуть к темноте, потом, преисполненный надежд, вышел на улицу.

В деревне царило безмолвие; кое-где в окнах горел свет и изредка слышалось хлопанье дверей.

Егерь прошелся по двору тетушки Винце, ему не хотелось сразу проверять капкан. Он то и дело останавливался, прислушиваясь, потому что если капкан захлопнулся неудачно, жертва могла быть еще жива.

Но ни звука не было слышно. Куры спали, вытянув шеи. Звезды затуманились, но снег сверкал, и в его блеске вырисовывался в капкане какой-то черный зверек.

«Попалась! — возликовал егерь. — Вот здорово! Огромная куница! — Но подойдя ближе, остановился, огорчен-

ный. — Проклятый кот, расшиби тебя молнией! — негодовал он. — Чего ты пришел сюда?»

Кот, разумеется, ничего не ответил, а егерь поспешил сокрыть его бранные останки, ведь соседи тетушки Винце не обрадуются, узнав о преждевременной кончине своего кота.

Миклош засунул мертвого кота в рюкзак, капкан повесил в конюшне и через сад направился в поле. Но пройдя несколько шагов остановился и снова стал изрыгать проклятия на голову мертвого кота.

«Лиса! . . Тут была лиса!»

Следы явно показывали, где Карак шел ровными крадущимися шагами, а где бежал, делая длинные прыжки. Возле вырытой в землю бочки он, как видно, лежал.

«Стало быть, тут сидела, притаясь, лиса, когда этого гадкого кота захлопнул капкан, а потом она, потеряв голову, понеслась прочь, — размышлял егерь и, как мы знаем, не ошибся. — А место для капкана я правильно выбрал. Кошачью шкурку выделаю для себя. Шапка, верно, из нее получится. Жаль, мало попадается черных кошек».

Егерь должен уметь не только обдирать и обрабатывать шкурки, но и дубить их. Меха домашней кошки очень теплый и даже прочней и красивей, чем у дикой. Шкурка дикой кошки не ценится, и кошачьи шубы на разгуливающих по бульвару дамах сделаны из домашних кошек. Их разводят специально для этой цели. Меха диких животных, обитающих на воле, вообще красивей и прочней, чем у искусственно разведенных или домашних, но дикая кошка составляет исключение, а это доказывает, что она не предок домашней, которая произошла от нубийской или кафарской кошки, прирученной в древнем Египте и оттуда распространившейся по Европе и Азии. В Египте была, наверно, масса мышей, и потому кошку считали священным животным. За ее убийство казнили, ведь сотня рабов не могла так же надежно, как одна кошка, охранять от голодных мышей фараоновы житницы.

Миклошу эти исторические факты, вероятно, не извест-

ны; он небрежно тащит в рюкзаке кота, и ему даже в голову не приходит, что в Египте его за это казнили бы, разумеется, не сейчас, а пять тысяч лет назад. Но зато теперь ему приходится опасаться, как бы тетушка Кардош не провела о печальной участи своего любимца: тогда ни один древний бог уже не спасет Миклоша от бесконечных попреков.

Но егерь уже забыл про кота; он идет по следу лиса, который пробегал здесь дважды, туда и обратно, а в этом месте, как видно, замедлил бег.

Да, Караку безусловно повезло! Если бы он не повстречал Инь, свою будущую подругу жизни, то непременно попал бы в капкан, ведь он оказался бы во дворе намного раньше, чем Мая, чей предок был на короткой ноге с фараонами и мог это себе позволить, поскольку считался святым.

Над рекой клубится легкий туман; поля и леса уже стряхнули с себя ночь. Свет луны становится все более блеклым, и звезды уже затерялись в сиянии, предвещающем день. Где-то вдали гогочут дикие гуси, но это почти не нарушает прохладной утренней тишины.

Миклош стоит на берегу реки, где Карак свернул в камыши, и думает, куда ему податься. Идти по лисьему следу дело безнадежное — ведь лиса за одну ночь прокладывает много путей, и если даже удастся найти ее лежку, то, услышав приближение охотника, она моментально удерет. И пусть даже след ведет к норе, все равно ничего не поделаешь: без собаки до зверя в норе не добраться.

Пока Миклош стоит в раздумье, кто-то кричит ему из леса и машет рукой: подожди, мол.

— Хорошо, что я тебя увидел, — запыхавшись, подходит к нему один знакомый. — Мельник просил передать тебе вот эту записку, что-то насчет муки. Я хотел отнести тебе домой, а теперь не придется тратить на это время.

— Спасибо.

— Не за что. Охотишься?

— Иду по лисьему следу, вдруг куда-нибудь приведет, — и, положив записку в карман, он движется дальше.

Но это не записка, а письмо, которое он хочет прочитать, оставшись в одиночестве.

Уже потеплело, тонкий снежок не хрустит, да если и хрустел бы, Миклошу сейчас это все равно.

«... И завтра мы с нетерпением будем ждать вас к обеду...» — стоит между прочим в письме, где о муке, разумеется, нет ни слова.

Только после пятикратного прочтения прячет Миклош в бумажник это знаменательное послание и теперь уже сосредоточивается на изучении следов Карака, которые составляют тоже красивые, но более редкие строки, чем буквы в письме.

«Конечно, конечно, так я и думал», — мелькает у него в голове.

Следы ведут к двумдохлым собакам, и он с радостью убеждается, что псов основательно пообъели. И вокруг — множество лисьих следов.

«Надо было прийти сюда ночью».

Потом, вспомнив о коте, он смотрит на искалеченную старую иву, в которую когда-то давно вбил гвозди.

Здесь он несколько раз сдирал шкуру с убитых лисиц.

Миклош вешает на дерево черного кота и острым как бритва охотничьим ножом со знанием дела рассекает шкуру. Упитанную тушку кота он кладет между двумя собаками, а шкуру, завернув в бумагу, засовывает в карман рюкзака.

— Так! — бормочет себе под нос егеря, но никто не поддерживает с ним разговора, и только сорока стрекочет где-то в кустах.

Миклош стоит возле старого дерева, прислушивается: сорока продолжает болтать, и голос ее как будто приближается.

Сорока еще вчера видела дохлых собак и теперь пытается созвать своих подруг, но те не идут. Присматриваясь,

она подлетает ближе и с пронзительным криком садится на землю, словно говоря: «Погляжу-ка сама...»

Ружейный ствол, отделившийся от ивы, она еще заметила — правда, поздно, — а выстрел уже не слышала, ведь дробь летит быстрее звука. Сделав красивую дугу, птица рухнула на землю, а Миклош ее подобрал: она пригодится для капкана, а длинными сорочьими перьями, выдернутыми из хвоста, очень удобно чистить трубку.

«Пойду-ка я к лесу, — егерь надел рюкзак, — а потом домой».

К этому времени уже совсем рассвело, было светлое субботнее утро, предвещавшее воскресный обед. Было письмо, которое дома он еще не раз прочитает, короче, все было впереди.

«Снег растает», — с сожалением подумал он.

Снег спасает посевы от морозов, под ним хорошо развиваются растения; он помогает охотнику прочесть утром следы зверей. Снежная морозная зима для человека куда здоровей, чем сырая, промозглая, которая поворачивает на мороз только тогда, когда абрикосовые деревья уже наряжаются в подвенечный наряд и терновник надевает свадебный венец.

«Снег растает», — подумал опять егерь и свернул к реке, чтобы и там осмотреть следы, оставленные ночью доверчивыми ночными охотниками. Уже можно было наблюдать, как метла ярких солнечных лучей подметает затуманенное небо.

«Эх, бедняга, и зачем надо было тебе здесь остановиться, — подумал Миклош, спустясь на прибрежную косу, чтобы рассмотреть разбросанные остатки цапли. — Да, с ней знатно разделались».

Он не сразу понял, кто ее прикончил. Там, где шла борьба, снег был примят. Большая птица, пока ее трепали, замела следы.

«Видно, больная была, — решил Миклош, — иначе спала бы ночью на дереве. А расправилась с ней выдра, и не одна, а две, ведь тут следы маленьких и больших лап».

На мягкой глине у мелководья остались отчетливые, словно нанесенные резцом следы лап.

Миклош смотрел на них, точно ждал, чтобы они заговорили.

«Теперь их уже две. Но где они?» — вздохнул он, глядя на склонившийся к реке старый тополь, на котором уже не осталось ни одного листочка.

Его шершавая кора равнодушно смотрела на человека, а своими корнями он надежно защищал сухую и теплую нору и в ней двух выдр.

Да, теперь в норе жили две выдры, ведь прошлой ночью Лутра убедился, что маленькая самка достойна такой награды.

Вчера вечером, высунув голову из воды и поведя носом, он почувствовал запах свежего снега. Изменившийся вид белых девственных берегов сулил свободу и прекрасную охоту. Когда выдра идет по снегу, ее, правда, лучше видно, но зато, плывя в темной реке, она замечает на белой земле даже шевеление мыши.

Этот вечер означал не только охоту, добычу и пищу. В ласковом бормотании воды и мельницы, в шелесте знакомых кустов будто звучало какое-то обещание и сладкая тоска, которой давно уже не чувствовал Лутра. По характеру замкнутый и суровый, он вдруг размягчился, на него нашло веселье, чуть ли не легкомыслие, и, забыв о голоде, он скользил туда-сюда по воде; потом приюхался; остановившись на прибрежных камнях, наострил уши и наконец поплыл к другому берегу, где недавно встретился с маленькой выдрой.

Его охватила и стала подгонять страшная, завистливая ненависть, какая-то жестокая злоба, готовность сразиться, которые он ощущал обычно, когда хотел остаться один или с кем-нибудь наедине.

Но злился он понапрасну: самочка сидела в одиночестве на берегу и с аппетитом ела рыбу, не обращая на Лутру ни малейшего внимания.



Он понял, что она его видит, и прежняя ярость сменилась в нем легкой веселостью. Подплыв к ней, он тихо фыркнул, и самочка испуганно вздрогнула, хотя оба они знали, что это всего лишь игра.

Потом Лутра выполз на берег. Обнюхал прекрасную большую щуку, но есть не стал, а самочка отошла в сторону, дав понять, что уступает ему свою добычу.

Лутра сделал вид, будто хочет впиться зубами не в щуку, а в маленькую выдру.

— Ой, боюсь! — отпрыгнула та в сторону. — Ешьте, пожалуйста.

Затем оба они принялись за щуку. Носы их время от времени соприкасались, и тогда самочка отскакивала назад, словно прося прощения, а Лутра, если можно так выразиться, улыбался в усы.

— Гм, я вовсе не такой уж кусака, — сказал бы он, если бы умел говорить.

И все вокруг постепенно становилось красивей, светлей и мягче. Игра оживилась; наконец самочка, спасаясь бегством, нырнула в воду, кокетливо приглашая последовать ее примеру.

— Мне хочется поохотиться, мы так прекрасно проводим время, и все так прекрасно.

— Конечно. Если хочешь, поохотимся, — фыркнул Лутра и даже присвистнул, что у выдр определенно означает признание в любви.

Резвясь, плыли они вниз по реке, но вдруг притихли: на противоположном берегу в песке возле куста стояла одинокая цапля. Трудно было понять, почему эта осторожная птица села на землю. Может быть, поранила себе крыло и так ослабла, что не смогла взлететь на высокое дерево; или ее спугнули, и она решила отдохнуть тут немного — кто знает?

Она казалась на снегу серой тенью; едва ли могло прийти ей в голову, что немного ниже по течению к берегу свернула маленькая выдра и, прячась в тени кустов, подбирается к ней. Лутра же продолжал плыть, ничуть не скры-

ваясь от цапли. Ему удалось привлечь ее внимание, что было инстинктивной игрой, частью охоты. Холодные глаза большой птицы вбирали в себя все его движения, но он был довольно далеко, и его появление как будто не предвещало опасности.

Но сзади к ней бесшумно приближалась длинная тень. Увидев ее, Лутра сделал плавный поворот и направился к цапле. В этот момент она еще могла бы взлететь. Но тут скрипнул сдвинутый с места камень, испуганная птица, подпрыгнув, взмахнула крыльями, но было уже поздно — маленькая выдра так и вцепилась в нее. Тотчас подоспел и Лутра, положив конец бессмысленному сопротивлению цапли.

Он весело фыркнул, точно перья пощекотали ему нос.

— Хорошая охота! Ты очень ловкая, охотиться с тобой одно удовольствие.

Такое примерно признание выражало его фыркание; самочка игриво потянула к себе пук перьев, Лутра ответил тем же. Наевшись, выдры без сожаления покинули то, что осталось от отбившейся от своих странницы, так бесславно закончившей путешествие. Зима как бы взвесила достоинства цапли, и выяснилось, что ее силы, осторожность, жизнеспособность не были достаточно хороши.

Две выдры игриво кружились в воде; их повороты, движения были точны и совершенны — так умеют плавать лишь эти звери. Самочка вертелась около описывающего более широкие круги Лутры, скользила в воде на спине, на боку, животе, — с ней не смогла бы состязаться ни одна рыба. Иногда, чтобы набрать в легкие воздуха, выдры высовывали из воды голову, потом опять продолжалась игра.

Но вдруг выдры прислушались. Вода под ними замутилась, и небольшие волны донесли какое-то необычное движение.

— Охота! — маленькие глазки их, сверкнув жестокостью, несколько секунд напряженно всматривались; потом, разлущившись, выдры поплыли в направлении движения.

Игра кончилась. Животные следовали закону жизни.

Речь шла не только о добыче пищи. В каждое движение и во все поведение двух охотников были вложены навыки тысяч их предков. В охоте была вся красота их жизни, ведь она требовала крайнего напряжения мышц и органов чувств. Но теперь это была охота не в одиночку, они старались друг для друга, ради неведомого будущего.

В мутной воде блеснуло несколько рыб. Обе выдры поймали по одной и, не выплывая на поверхность, быстро их проглотили. Потом возле них закружилась целая стая карпов, нескольких они вынесли на берег, но бросили, не доев, — ведь Лутра и его подруга были сыты и охотились только ради самой охоты.

Вода почему-то опять заплескалась, что встревожило рыб, как видно, уже впадавших в зимнюю спячку. Это пошевелился огромный сом, лежавший в своей илистой постели. Вода прикрыла его илистым одеялом, а глупые карпы просто-напросто сели на него. Такое случается, сонный сом обычно и не возражает. Но погода была еще довольно теплая, и карпы ерзали, крутились, вот сому и надоел расположившийся у него на спине и голове наглый народец, и, пошевелив плавниками, он разогнал всю стаю, не упустив случая проглотить придурковатого полуторакилограммового карпа.

Тут осовелые карпы ударились в бегство, а выдры полакомились.

Но еще кто-то охотился поблизости, то есть ловил рыбу в мутной воде. То была огромная щука, размеры которой превосходила только ее прожорливость. При наступлении зимы, когда мирные рыбы прячутся в свои зимние квартиры, водным хищникам иногда приходится сильно голодать, а щуки так ненасытны, что кидаются на новую добычу даже тогда, когда хвост последней пойманной рыбы еще торчит у них в пасти.

Эта щука была почти метровой длины; проглотив с полдюжины небольших карпов, еще держа последнего в пасти, она пустилась вдогонку за убегающей в растерянности

стай. Но одержимая жадностью, не заметила, что и за ней гонятся.

В замутненной воде, постепенно приближаясь к ней, следовали две тени. Одна выше нее, другая ниже.

Потом обе они одновременно бросились на свою жертву. Щука со страшной силой оттолкнула ко дну нападавшую снизу маленькую выдру, которая в одиночку едва ли с ней справилась бы, но сверху в рыбу вцепился Лутра, и обе выдры поволокли ее из клокочущего водоворота к берегу.

Щука не желала сдаваться и билась даже когда ее целиком вытащили на песок.

Но есть выдры уже не хотели. Тяжело дыша, смотрели они на рыбу. Бока их вздымались. Потом самка откусила кусочек щучьей спинки, словно говоря:

— Коли мы ее поймали, надо отведать.

Укус причинил щуке сильную боль, и при последней вспышке угасающей жизни она так ударила самочку, что та упала навзничь, а когда снова вскочила на ноги, Лутра уже крепко держал добычу.

Лунный серп плыл в вышине, и блеск снега потускнел. В темном лесу на том берегу время от времени что-то кричала сова, но, не получая ниоткуда ответа, наконец замолкла. Река бесшумно бежала на юг. Взбаламученный было ил уже осел; небольшие волны реки играли со звездами и на языке света лепетали им что-то непонятное.

Маленькая выдра примостилась возле Лутры.

— Хорошая была охота.

Потом она принялась бегать по берегу, хотя никто ее не преследовал, наконец, привстав на задних лапах, издала свист, на что Лутра присоединился к ней. Тогда она игриво подпрыгнула и бросилась в воду, а следом за ней и Лутра.

Игра эта казалась им теперь более увлекательной, чем охота, и когда Лутра повернул к своей норе, уже маленькая выдра последовала за большой. У входа она помедлила, уступая дорогу хозяину, потом, притихнув, заползла в туннель.

— Тут я живу, — просопел Лутра, а самочка посмотрела по сторонам, точно говоря:

— Лутра, да здесь замечательно, — и положила мордочку ему на шею.

Так пришло утро, оглашенное ружейным выстрелом, а с утром и человек с рюкзаком, в котором была кошачья шкурка и оказавшаяся недостаточно осторожной сойка.

Миклош вырвал из крыла цапли два пера — они пригодятся тете Юли для веничка, а остатки птицы собрал в кучку — вдруг выдры опять сюда придут. У него дома есть для них капкан, даже целых три.

Он обдумал план действий. Поставит капкан не только в деревне, но и здесь. Несколько красивых шкурок — самый хороший подарок, какой только может сделать егерь своей невесте.

— Ка-а-ар, ка-а-ар, есть чем поживиться, сюда-а-а, сюда-а-а! — кричит серая ворона, и неясные мысли Миклоша путаются, а взгляд останавливается на кружащейся за большим тополем птицей.

«Что-то там происходит», — думает он.

— Кар, кар, человек, человек, — стрекочет ворона. — Я не решаюсь опуститься на землю, кар, ой, ой!

Миклош стоит на берегу. Он надвигает шляпу на лоб — ведь вода ослепительно блестит — и в отдалении видит нечто непонятное. Снег раскидан, и на темном фоне земли лежит что-то длинное. «Что же это такое?» — направляясь к тропинке, недоумевает егерь. Когда он обходит большой тополь, гул его шагов проникает в нору, и маленькая выдра встревоженно смотрит на Лутру, но тот, даже не шевельнувшись, бросает на нее сонный взгляд.

— Спи! Ты тут в безопасности.

Теперь уже Миклош идет быстрее, ведь тропинка отклоняется от реки, и ему уже не виден загадочный предмет, а ворона продолжает возбужденно каркать, потом, сев в сторонке на дерево, следит за человеком, который снова выходит на крутой берег.

«Ого! Что это? Щука! Да, щука, — и Миклош скатывается по снегу к воде (в непромокаемых охотничьих брюках ему такой спуск нипочем). — Да она еще совсем свежая! — он переворачивает большую рыбу. — Тут от нее немного откусили и там тоже. Какие огромные зубы, как у собаки».

— Кар, ка-ак жалко, он нашел ее, ка-ак жалко! — вопит ворона. — И уносит, ой, ка-ак жалко! — И отделяется от дерева: человек со страшной щукой под мышкой уже идет по лесу, приближаясь к ней.

Егерь, как и дикий зверь, не любит открытых мест. Он не останавливается, пока не находит подходящего места в густом кустарнике. Там он разбрасывает ногами заснеженные листья и вспарывает щучье брюхо, подозревая, что в этом бесстыдно огромном животе можно найти что-нибудь интересное.

Острый нож со скрипом скользит по чешуе, и вскоре из щуки вываливаются карпы и крыса.

«Так, так, старина», — пошлепал егерь щуку по спине и разрезал пополам: метровое чудовище иначе в рюкзак не засунешь.

— Ну, вперед, — скомандовал он сам себе и пошел довольно медленно, ведь раздувшийся мешок оттягивал плечи. — Не меньше двенадцати килограммов, — отдуваясь, бормочет он. — Маленькие карпы пригодятся для капкана.

Рыба отличная приманка, ее любят хорек, куница и даже кошка. Пахнет она сильно, заманчиво, и некоторые кошки ради нее готовы на все.

«И лисица тоже, — оправдывался сам перед собой Миклош, поскольку ловить деревенских кошек капканом — сомнительное геройство. — И лисий капкан я поставлю, тетушка Винце свою кошку запирает, а если попадетя бездомная, не велика беда. Никто об этом не узнает, их и так много, а может, и не попадетя больше... Фу, как жарко».

Хотя вопрос с кошками и не был окончательно решен,

Миклош не ошибся: солнце словно опустилось ниже, и внезапно потеплело. На полях и лугах снег еще оставался, но извилистые дороги уже почернели, а бугорки на пашне даже высохли, и река по-весеннему весело вилась среди крутых берегов, точно горы посылали с ней восточку, что и на них растаял снег.

Егерь торопился домой.

Во дворе он сбил с сапог присохшую грязь и, желая обрадовать тетю Юли, вежливо постучал в дверь кухни.

— Ты тут дома, сынок. Чего стучишь?

— Тут так хорошо меня принимают, словно я гость.

— И он сразу добавил: — Заприте дверь, тетя Юли, а то как бы кто-нибудь к нам не пожаловал.

Старушка нервно щелкнула замком, Миклош же положил на стол метровую рыбу так, будто она не была разрезана пополам.

— Ах! — просияла тетя Юли, а потом с подозрением взглянула на Миклоша. — Ты где-нибудь подобрал ее?

— Убил, — вздохнул он. — Убил. Она подплыла к берегу, а я пиф-паф!

Если он скажет, что рыбу убили выдры, тетя Юли к этой «падали» не притронется. А теперь:

— Ах! Прекрасно сделал сынок. Такую огромную не подают на стол даже священнику.

— Но будем об этом помалкивать. Хорошо, тетя Юли?

Старушка ничего не ответила. Для нее представляло спортивный интерес провести кого-нибудь, и она умела молчать, правда, лишь в редких случаях.

— Из головы, хвоста, плавников я сварю уху. Мясо поджарю, оно простоит хоть неделю, сделаю заливное и на салат пойдет. С фасолью, да? Уху сварю не с перцем, а со сметаной, чтоб была кисловатой на вкус. Завтра приготовлю.

Миклош смущенно почесал в затылке.

— Завтра, к сожалению, не получится.

— Почему?

— А потому что тетя Юли не любит диких гусей.

— Ну и что? Не люблю, и дело с концом. Мне только любопытно, к чему ты, плут, клонишь.

— Я вот застрелил диких гусей, а по дороге домой отдал мельнику. На свою беду! Сегодня прохожу мимо мельницы, а он кричит, завтра, мол, меня ждут к обеду. Пожарят гусей. Что мне оставалось делать? К нему мы возим зерно, он нас всегда хорошо обслуживает. Правда, нельзя ведь сказать, что он нас плохо обслуживает?

— Да уж, конечно. Попался ты, Миклош, в ловушку. Подцепила тебя эта девчонка... Скинь одежду, я потом поглажу.

— Но...

— Хотя говорят, Эсти Чёндеш порядочная девушка, а что красивая, это и слепой видит. А теперь прочь с дороги!

Растроганный Миклош засмеялся и пошел в комнату. От приятной истомы ему казалось, что-то жужжит возле него и он слышит, как бежит время. Тетя Юли одобряет его выбор, а тетя Юли — это само общественное мнение.

В кухне звенели кастрюли, стучала печная дверца, журчала вода и потрескивал огонь. Всё — домашние, мирные звуки. Сбегали капли с оконного навеса, и с таким искрящимся блеском светило солнце, словно пришла весна.

«Дороги развезет, — подумал егерь, — буду грязный до колен. Что ж, в лесу почищу ботинки».

Тут он вспомнил, что надо проветрить одежду: если тетя Юли увидит, что он этого не сделал, проворчит весь день.

— Куда положить твой мешок? — открыла она дверь.

— Почему ты не ешь?

— Забыл. Знаете, тетя Юли...

— Знаю, — махнула рукой старушка. — Не серди меня, я и так очень сердитая.

— Я еще не все сказал.

— Что? Что еще там у тебя? — глаза у нее загорелись от любопытства.

— А вот что. Тетушка Винце пристала ко мне, чтобы я поставил капкан, а в него попался кот Кардошей.

— Черный?

— Да.

— Ну и слава богу! Он таскал цыплят и даже птиц ловил. Мари уже знает?

— Никто, кроме вас, тетя Юли, не знает. Вот его шкурка. Миклош достал из рюкзака черную кошачью шкурку.

— Ну, и вы об этом лучше не знайте, тетя Юли.

Старушка в задумчивости погладила мягкий блестящий мех.

— Вот сколько огорчений свалилось на этих старушек: одна лишилась петуха, другая кота, третья племянника. . . Но, — она махнула рукой, — ни об одном жалеть не стоит.

К полудню от снега и следа не осталось. Вода впиталась в борозды полей, дороги просохли, зелены распрямились, и грачи молча ковырялись на пашне.

Все вокруг словно погрузилось в сон.

Дикие гуси давно уже насытились и теперь дремлют усталые; лишь несколько часовых стоят на одной ноге, чтобы при первых признаках опасности поднять стаю. Разленившиеся от непривычного тепла сарычи сидят, согнувшись, на одинокой акации. Мыши еще утром вышли из грязных подземных ходов, чтобы просушить на солнышке свои шкурки, к чему сарычи отнеслись с полным одобрением. Сухая хорошенькая мышка гораздо вкусней, чем мокрая; но к полудню у них пропал интерес и к сухим мышам; желудки их были уже битком набиты.

Некоторое оживление наблюдается только в камышах возле шалаша, где две бродячие собаки и кот Кардошей спят беспокойным, но вечным сном. Ночью Карак и его будущая супруга потрепали злосчастных псов, на заре их посетил егерь, положил рядом ободранного кота и бессовестно нарушил выстрелом покой мертвецов.

Но это еще не все!

Возле собачьих трупов егерь воткнул в землю палку, а к ней привязал белую тряпицу, которая теперь весело развевается на южном ветру.

— Ка-ак жалко, — протрещал один из грачей.

Возле падали образовался целый птичий клуб.



Сороки и вороны, слетевшиеся на пир, тоскливо вскрикивая сидят на соседних высоких кустах, но колышется проклятый знак, оставленный человеком, говоря: нельзя приближаться.

— Во-о-от, во-о-от, ка-какой позор! — визжит сойка. — Давайте набросимся на собак, набро-о-осимся!

Но ни одна птица не смеет приблизиться к мертвечине, даже сесть на землю, все ждут, когда исчезнет страшилище и начнется пир.

Миклош предвидел, что сюда слетятся птицы, и поэтому оставил тряпку-пугало, ведь иначе за несколько дней вороны растащили бы падаль, которая пригодится ему для ночной охоты.

Одна из сорок стрекоча перелетает на маленькую полянку, потом парит над собаками, но опуститься на землю все же не решается.

— Че-че-террр, — делает она круг в воздухе, — ничего нет опасного.

— Впер-р-ред! — уговаривает членов клуба сойка, а сама не трогается с места, продолжая сидеть в чаще кустов в обществе прочих птиц.

Только маленькие синички, что отыскивают куколок и

спящих червяков, весело вьются среди ветвей. Как вдруг над поляной со свистом появляется стая овсянок, а следом за ними ястреб-перепелятник Нер.

Овсянки в мгновение ока скрываются в густом кустарнике. Перепелятник опоздал. . . Не в силах сдержать головокружительной скорости, он делает в воздухе круг, чем выводит из себя серых ворон.

— Кар, дер-р-ржите его, — набрасываются они на ястреба, короткокрылого убийцу, самого страшного врага певчих птичек, и гонят его прочь.

Ястреб тщетно пытается спрятаться в ивовых кустах, потом взмывает и, кружа все выше и выше, улетает в лучезарное поднебесье.

Ястреб был маленький, стало быть самец, ведь у перепелятников, как и у других хищных птиц, самка иногда чуть ли не вдвое больше самца и вдвое его опасней. Маленький самец и не покушается на птиц покрупней. Самка же убивает голубей, серых куропаток, соек, дроздов, горлиц, дятлов, а вместе они истребляют самых полезных садовых тружеников: синиц, мухоловок и прочих. Пока косматая синичка, покинув гнездо, с наивным любопытством смотрит на окружающий мир, ястреб приканчивает всю ее семью и наносит огромный вред плодовому саду, где из-за быстро размножающихся насекомых-вредителей пропадают центнеры яблок.

Но вот Нер скрылся, и серые вороны, вернувшись после погони, садятся на старый тополь, откуда виднодохлых собак; они не потерпят, чтобы какая-нибудь дерзкая сорока начала их клевать. В камышах как будто нет никаких перемен, а на берегу реки появилось что-то новое, приметное, чего еще вчера там не было.

Вороны внимательно оглядывают странный холмик, потом обмениваются взглядами.

— Кар, — совсем тихо произносит старая ворона. — Ка-а-ар, надо бы посмотреть, надо бы посмотреть.

Наконец одна из молодых вспархивает с ветки и, подлетев к таинственному холмику, начинает снижаться.

Опустившись на песок, она некоторое время изучает обстановку, а потом принимается что-то клевать.

— Она лопает! — кричат остальные, и через несколько минут от мертвой цапли остаются лишь жалкие остатки.

Вороны пожирают мясо цапли, жесткое, как подметка, но желудок их переваривает все, что бы они ни проглотили. Старые птицы сильными щелчками по голове то и дело разбирают дерущихся, а тем временем какая-нибудь проныра присваивает спорный кусок.

Вороны торопятся есть: вот-вот остатки цапли смоем вода. Птицы и не думали подходить к реке; она сама залила берег, точно требуя свою долю, хотя бы перья, голову и две тонкие, как спички, ноги.

Вода в реке прибывает!

Вот уже несколько дней, как в горах потеплело, снег растаял; слившиеся вместе ручьи устремились вниз, и этот грязный бурный поток никак не вяжется с безмятежным, по-весеннему ярким днем.

Берега не выдерживают натиска бурлящей реки, и то одна, то другая глыба земли, оторвавшись, с громким плеском падает в воду.

И старый тополь, проснувшись, встревоженно вздыхает на теплом ветру:

— С-с-с, что с тобой, Река, ошалела ты, что ли?

— Я? При чем тут я? Хорошие вопросы задаешь ты, старый Тополь. Так и бежит ко мне множество новорожденных грязных ручьев. Что мне с ними делать? Их посылают Гора, Лес, — все. Ошалела погода, а не я!

— С-с-с, — вадыхает Тополь. — Ты размыла весь берег, мои корни чувствуют это, и даже во сне мне страшно.

— Тебе не впервые страшно, — сердито рокочет Река. — Лучше бы ты спал.

— Глупая, с-с-с, какая ты глупая. Твои озорные детишки играют в весну, я уже едва стою, а ты говоришь мне: спи.

— Брани Зиму, — мечется Река. — Разве это Зима? Лентяйка она, полеживает где-то. Приносит не снег, а слякоть. Напускает южный ветер, не заботится о порядочных

тучах, северном ветре. И горы валят в меня массу грязи. Поверь, мне совсем невесело.

Легкая дымка окутывает окрестности. От снега не осталось и следа. На всем лежит печать ленивой, сонной усталости, и не несись река так стремительно, можно было бы подумать, что по случаю воскресенья она бездельничает, загорает на солнышке.

Притихла деревня, только дятел посвистывает, кружа над садами, словно подрубает нижний край шторы, спускающейся с неба, и — трах-тах, трах-тах — тетя Юли выбивает пыль из брюк Миклоша с такой силой, словно они надеты на егеря.

«Как хорошо мне было с этим парнем, а теперь останусь одна как перст».

Трах-тах! — бьет она по штанам, словно напуская ветер на старую мельницу, которой все нипочем. Она стоит себе на берегу, смотрится в воду, ее большое колесо шагает то быстрее, то медленней, и оно тоже такое старое, что за свой век могло бы дважды обойти земной шар. Но оно крутится на месте, шагает только по ленте реки и наматывает на себя дни, уносит их в ночь и приносит в рассвет, пока не рухнет когда-нибудь в бесконечную стремнину времени.

Старая мельница сотрясается, разумеется, не от ударов тети Юли, а потому что вода и мельник пустили ее в ход. С гулким грохотом жерновов сливается тихое поскрипывание валов и шелест решет, высыпавших муку с желоба.

Мешки наполняются теплой пахнущей хлебом мукой, ведь во время работы нагреваются не только жернова и валы, нагревается и перемалываемое зерно.

Мельник не знает отдыха. Он то завязывает мешок, то насыпает зерно в воронку, то останавливает валы; наконец закуривает и стоя у окна смотрит на воду, думает о своем.

— Жалко, что он не мельник. . . — бормочет он, и можно поручиться, что имеет в виду Миклоша.

День уже клонится к вечеру. Над рекой между деревьями реет туман, и сразу чувствуется: по-весеннему буйному, солнечному веселью — конец. Но вода все больше при-

бывает, и тысячу мельниц привела бы в движение та сила, что вчера была миллиардом снежинок, а сегодня вращает колеса, которые тянут на постромках кони воды и солнца.

Мельник смотрит на воду и думает об Эсти и о себе. Какой-то неизъяснимой тоской веет от реки; мельница работает, мешки наполняются, и словно растворяются в воде минуты быстротечной жизни, которые никогда не возродятся, не вернуться.

«Да, так оно и есть», — кивает он сам себе и вздрагивает, заметив рядом дочку. В шуме он и не слышал, как отворилась дверь.

— Отец, принесли вино. Вы не пойдете попробовать? А то дядюшка Калло торопится.

— Пусть себе идет, вино дядюшки Калло нечего пробовать. Не могу я сейчас мельницу оставить, она на полном ходу. Постой-ка, Эсти! Принеси стаканчик.

Стройная девичья фигура скрывается за дверью, а мельник смотрит ей вслед, точно еще видит ее.

«Ну и глаза у этой плутовки, вот почему Миклош... Стало быть, и егерь иногда попадает в ловушку».

Глядя на реку, он вспоминает прошлое.

— Отец, вот вино.

— Целую бутылку притащила? Я просил всего стаканчик.

— Ну, почему же...

Серые глаза мельника останавливаются на дочке и словно видят ее насквозь, а она не знает, куда отвести взгляд. В ее руке чуть дрожит бутылка, лицо постепенно краснеет. Мельница гудит, и колесо почти бесшумно вертится.

— Так-то, доченька...

Глаза Эсти затуманиваются слезами, и, наполняя стакан, она проливает вино.

— Смотри, да ты же мимо льешь.

— Ой!

И тут она с бутылкой в руке прижимается лицом к отцовскому плечу.

Мельник чуть отстраняет ее, ему стыдно, что и он расчувствовался.

— Вся в муке перепачкаешься, будут потом на селе говорить, что с подручным мельника обнималась.

С легкой улыбкой девушка наполняет стакан.

— Будьте здоровы, отец.

— За тебя и твоего суженого, дочка.

Мельница гудит, точно улей времени. У девушки теперь своя дорога. Вода все прибывает, старое колесо мягко скользит по водяной ленте, над рекой колышется вечерний туман, и мельник Калман Чёндеш остается один.

Но надо привыкать к этому, в конце концов всех ждет одиночество.

Егерь, к примеру, хотел бы побыть один, но не мог: дав ему благословение и разрешение на женитьбу, тетя Юли предложила, чтобы молодые жили у нее в доме, и потом уже не оставляла Миклоша в покое.

— Тетя Юли, да я же еще не сделал предложения, — не выдержал наконец Миклош, — и родители Эсти ничего не знают и согласия мне не дали. . .

Тетя Юли стояла подбоченясь, с таким воинственным видом, что егерь лишился дара речи.

— Ну и фрукт! Ну и разиня! Сиротинушка несчастный! Голову даю на отсечение, мельничиха тебе не откажет.

В субботний вечер Миклош с удовольствием посидел бы дома, но не было ему там покоя.

Он пошел к тетушке Винце и поставил у нее во дворе капкан, настоятельно попросив старушку предупредить соседей, ведь он за чужую оплошность отвечать не намерен.

— Правильно, но Мари искала тут Фашиста.

— Какого фашиста?

— Большого черного кота. Я ей говорила, нечего у меня искать, ты кошек не трогаешь, а в капкан, я сама видела, никто не попался.

— Конечно.

Сегодня Миклош положил в капкан карпа, одного из тех, что проглотила большая щука. У щуки такие же «клыки», как у собаки, но она ими не жует, а только хватает и держит добычу. Зажимает в зубах окуня, маленького сома, пока они не помрут, иначе они начнут шевелить своими колючими плавниками, когда она их глотает, и тогда щуке конец.

— Фу, какая вонючая рыба! — брезгливо сказала тетушка Винце.

— Да, пахивает, потому-то я ее сюда и принес. Сейчас вымою руки.

Уже стемнело, и поля не освещало вечернее солнце, их окутал тяжелый туман. Еще храня воспоминание о растаявших снегах, река стремительно неслась на юг, словно спешила навстречу весне.

Егерь остановился возле камышей, и прохладное дыхание луга смыло с него воспоминание о сегодняшнем и вчерашнем днях. Нарушилось первозданное молчание мрака, одиночества, и Миклош расплывчатой тенью вступил в таинственный вечерний мир камышей.

В шалаше под ногами тихо шуршали сломанные стебли. Рюкзак он положил в угол и, сев на скамеечку, посмотрел в маленький глазок. Но что происходит снаружи, станет видно, лишь когда взойдет луна и рассеется туман.

Чтобы скоротать время, Миклош вынул трубку.

Но сосать пустую трубку — все равно что цыгану играть на скрипке без струн.

Если бы дело было днем и егерь охотился бы на птиц, он мог бы преспокойно курить: у птиц почти полностью отсутствует обоняние. Надо было бы лишь следить, чтобы дым рассеивался в шалаше и не просачивался в глазок, привлекая внимание удивительно зоркого пернатого народа. Но сейчас Миклош выслеживает лисицу, а Карак при благоприятном ветре даже на расстоянии трехсот шагов поймет, что в шалаше сидит человек, это странное и опасное существо.

Со временем егерю кажется, что становится светлее, но это его глаза привыкают к темноте, и зрение обостряется. Зрачки, расширившись, стараются разглядеть то, что видел первобытный человек, когда еще не было электричества, сделавшего излишней древнюю приспособляемость глаз к освещению.

Кто-то тихо постукивает по крыше шалаша, егерь догадывается, что над его головой ходит сова. Нарушая глубокую тишину, она скользит по камышу, что-то треплет.

«Это, верно, неясить», — думает Миклош и смотрит наверх, откуда доносится возня; вот бы схватить птицу за лапу, как бы она испугалась!

— Ух-ух-ух-ух! — кричит сова, из чего следует, что она расправилась с мышью, и этим криком сразу выдает свое происхождение.

«Неясить, — улыбается егерь. Ему симпатична косматая охотница, и он завидует ее глазам. — Я бы и слона не увидел, а она, — покачивает он головой, — поймала мышку в снопе».

— Ух-ух-ух, — снова выкрикивает его соседка, но тут же замолкает: поблизости завозилась мышь, которая наверняка слышит своего опасного врага. Но камышовый сноп такой плотный, что мышь чувствует себя в нем в большей безопасности, чем человек перед сидящим в клетке тигром.

Но вот вокруг распространяется таинственный свет. Старая ива поднимает из тумана свою лохматую голову, и луна, поздно встающая зябкая ночная странница, проливает сияние на гребни кустов. Сова молчит, но не улетает, — Миклош слышит, как иногда над его головой шуршит камыш.

Дохлых собак еще не видно, но завеса тумана будто поредела, и смутно вырисовываются контуры пейзажа.

Теперь сюда долетает рокот реки, значит задул восточный ветер. Егерь смотрит вперед и налево, ведь справа, с западной стороны никто не подойдет: ветер доносит туда запах человека.

Луна светит все ярче. Слабый ветерок лениво разгоняет клочья тумана, и настает тот час, когда все оживает, приходит в движение, а туман и полумрак пробуждают фантазию.

Сова, во всяком случае, улетела; так оттолкнулась от камышовой крыши, что ружье упало Миклошу на колени. Она, видно, кого-то заметила.

Егерь прислушался к тому, что происходит у него за спиной, вздрогнул, но с места не встал: тихий топот бегущих ног затих в камышах.

— Почуяли опасность, — проворчал он себе под нос. — И вроде их две.

Он прав: Карак и его дорогая женушка без оглядки несутся прочь от людей.

В том, что лисы спаслись, честно говоря, заслуга не Карака, а Инь. Карак хотел подобраться к дохлым собакам со стороны реки, но Инь побежала к шалашу с подветренной стороны, и он последовал за ней, как вдруг она повернула в страхе назад: человеческий дух стал совсем теплым.

«На сегодня хватит, — зеваает егерь. — Хорошо бы поспать».

Он неторопливо поднимается, опять втыкает палку-пугало с белой тряпицей и тихонько выбирается из камышей. Если бы не ветер, он бы сейчас шел домой не с пустыми руками, но охотники и рыбаки — бездельники и чудаки, и роптать ему не на что.

Луна уже стоит совсем высоко, ветер развеял туман, и лента тропинки спокойно ведет Миклоша домой.

«Капкан проверю на рассвете, сейчас еще нет и полуночи, — думает он, но тут часы на колокольне бьют полночь. — Ну ладно, проверю сейчас. И уберу его в конюшню. Не придется, по крайней мере, вставать чуть свет».

Сады в тени, ведь луна уже на ущербе. Шары спящих кур сливаются с мраком, капкана не видно на темной поленнице.

И тут в нос егерю бьет страшная вонь. От радости и со-

знания успеха мурашки пробегают у него по спине: в капкане сидит большой хорек.

Нельзя сказать, что он удобно расселся, но ему уже все равно. Напоследок он выпустил несколько капель зловонных выделений, а потом — что ему оставалось делать? — испустил дух, оставив на память о себе отвратительный запах, который не переносят даже привычные ко всему собаки.

Хорьков никто не любит, хотя там, где домашнюю птицу держат в хорошем курятнике, куда им не пробраться, для хозяйства они только полезны. Они искусно истребляют мышей, крыс и змей; укус гадюки им нипочем, и нет такой огромной крысы, которая, увидев своего страшного врага, не запищала бы в ужасе, прощаясь с близкой родней.

Хорек, несомненно, отважный воин и в случае необходимости нападает на собаку и даже на человека, но не будем осуждать его за это: он родился хорьком и не может жить, скажем, как соловей.

А этого хорька тем более не за что осуждать; Миклош с любовью гладит его шелковистую шерстку, хотя и морщит нос, и думает о том, что эту вонь лисица почувствовала бы и за два километра.

Но что поделаешь! У хорька благородная шкурка, и надо содрать ее поскорей, пока зверек еще теплый. Домой его не понесешь — ведь тетя Юли выставит Миклоша вместе с этим «вонючим гадом» за дверь, поэтому не остается ничего другого, как поднять с кровати тетушку Винце. Она жаловалась егерю на выдру, пусть теперь нюхает!

Он будит старушку, которая радуется смерти хорька-куролова, и пока егерь снимает шкурку, охотно светит ему лампой.

Придя домой, Миклош пытается тихонько проскользнуть в свою комнату, но тетя Юли не спит, и приходится дать ей подробный отчет. Что сказала тетушка Винце о хорьке, что сказал он сам, что ответила на это она и так далее.

— Ну, ступай, из тебя клещами вытягивать каждое слово надо. Ужин на столе.

Миклош молча ест, думая: не стоит уже ложиться, следующий день на пороге.

Следующий день!

А рассвет следующего дня самый обычный, если можно назвать рассветом густой туман, о который хоть лестницу опирай. Миклошу он на руку — ведь если надеть приличный костюм или пальто, что не часто случается, поскольку в воскресенье лучше всего обходить свой участок, — по дороге кто-нибудь непременно спросит:

— Может, свататься идешь, Миклош?

Или скажет:

— Как ты вырядился!

Егерь же — человек замкнутый и не любит таких разговоров.

Он идет по тропинке, радуясь, что вокруг туман: хорошо бы уйти подальше, пока он не рассеялся. И можно помечтать: ему уже не грозят неожиданные встречи и любопытные расспросы. Идти приходится медленно — дорога грязная, почти ничего не видно, только шумит в стороне река.

Вот уже подул ветерок, погода проясняется, но туман, верно, еще стоит и в вышине, ведь где-то растерянно гогочут дикие гуси, и крик их то и дело прерывает приятные раздумья Миклоша.

Иногда он видит их расплывчатые тени, которые тотчас исчезают. Но ружье держит наготове — чем черт не шутит.

«Тетя Юли — добрая душа. Как хорошо, что мы сможем жить у нее», — думает он, возвращаясь на цветистый путь мыслей, связанных с Эсти, но тут гусь проносится так низко — он видит даже его зоб, — что и ручкой от метлы можно его сбить.

«Вот ротозей! Что-нибудь одно из двух: или охотиться, или мечтай, — стыд и срам», — поругал он себя и выбрал охоту; остановившись, он вгляделся в клубы тумана.

«Ах, голубчик, что ж ты наделал, поджарить бы такого

гуся, как тот», — продолжал укорять он себя, но вдруг откуда-то сзади донесся гогот сбившейся с дороги птицы.

Грохот выстрела растаял в тумане, и гусь с шумом упал на землю.

«Приду не с пустыми руками, с подарком, — подумал егеря, — хотя, наверно, больше подошли бы цветы».

Но тут приблизились еще два гуся. В ружье, к сожалению, оставался только один патрон, но и он сделал свое дело. Второй гусь упал рядом с первым.

«Два жирных гуся! А садовник пусть несет своей невесте цветы».

Туман стал подниматься.

Связав гусей за лапы, Миклош повернул к мельнице, как вдруг из завесы тумана выбежали две знакомые собаки.

— Вы что?

Они тотчас сели. Пират поднял переднюю лапу, показывая свою боевую рану, и, виляя хвостом, пояснил, что примчались они сюда, услышав выстрелы: а вдруг понадобится их помощь.

— Мне не нравится, что вы тут слоняетесь, но если уж забрели так далеко, пойдемте вместе домой.

Пират вопрошающе посмотрел на Миклоша:

— Можно понюхать гусей?

И собаки поплелись следом за егерем. Они ни разу не залаяли, предупреждая хозяев, что идет гость, и поэтому те и не подозревали об этом.

«Видать, я слишком рано пришел», — засомневался Миклош и, увидев, что в двери мельницы торчит ключ, зашел в комнатку, где, как он знает, в это время можно обычно застать мельника.

— Я слышал выстрелы и подумал, ты, верно, скоро придешь. Два выстрела — два гуся. Садись-ка, сынок. Потолкуем, пока варится суп.

Мельник достал из буфета стаканы. Наполнил их и чокнулся с Миклошем.

— Пей!

Егерь, не ожидавший, что палинка окажется такой крепкой, с трудом перевел дух.

— Точно огонь! — кричит он.

— Ничего, третья чарка пойдет как по маслу, — говорит довольный мельник.

Мельник широкоплечий, в воскресном сером костюме, — сама любезность.

— Так-то, сынок, — твердит он, и Миклош, впервые услышав от него такое обращение, ощущает, как его окутывает тепло семьи.

Он понимает, что сейчас самое время объясниться с отцом Эсти, и если он поговорит с ним, потом легче будет говорить с ее матерью.

— Дядюшка Калман, — Миклош встает, — я, верно, и сегодня не решился бы сказать, прислал бы другого вместо себя, как положено, но...

Лицо у мельника сразу становится серьезным. Он слушает парня, который хочет увести из дома его единственную дочку. Молчит мельница, шумит река, рассеивается туман, и егерь по всем правилам просит руки девушки.

Калман Чёндеш отвечает не сразу. Он смотрит в окно, словно хочет получше запомнить эту минуту, потом, встав, неловко обнимает егеря.

Они садятся и опять замолкают, будто устали оба, приняв нелегкое важное решение.

— Миклош, сынок, — и точно от сверкающего на реке солнца, от душевной безмятежности сияет его лицо, — Миклош, сынок, я по себе знаю, как трудно выговариваются слова, когда сватаешься к девушке, однако когда пойдешь к нашим, повтори их, а я сделаю вид, будто ни о чем понятия не имею. Ладно? Тетушка Луиза тебе бы не простила, что сначала ты сказал все мне одному.

— Понятно дело.

И двое мужчин переглядываются, как сообщники, сознавая всю серьезность данного момента и желая в угоду женщинам соблюсти приличия.

— Так и сделаю, дядюшка Калман, — весело отвечает

егерь, ощущая надежную поддержку спокойного мельника, таскающего на своих плечах тяжелые мешки, а в себе после трех стаканов палинки — смелость на слова.

— Я тут не один, а с егерем, — объявил мельник, входя на кухню, — а он с двумя гусями, потому что в следующее воскресенье хочет у нас пообедать.

— Заходите же, заходите, — приглашает мельничиха, вытирая руки о фартук, и ведет Миклоша в комнату, откуда доносилось призывное позвякивание посуды.

— Я этого не говорил, дядюшка Калман, — смущается егерь и долго жмет руку Эсти, только что кончившей накрывать стол.

— Ради гостя присяду ненадолго. А ты погляди, дочка, что делается на кухне, и налей вина в кувшин.

Не догадываясь о предыдущем возлиянии, мельничиха предложила выпить для аппетита немного палинки, выпила и сама, а Миклош посмотрел на своего будущего тестя, который украдкой заговорщицки подмигнул ему.

— Дорогие тетушка Луиза и дядюшка Калман, — встал с места Миклош, — поскольку мне некому поручить красиво сказать то, что я хочу, позвольте это сделать мне самому.

Мельник еще раз пережил этот прекрасный и важный момент, а мельничиха, не ожидавшая именно сейчас услышать предложение Миклоша, опустившись на стул, зарыдала.

— Так вот, мать, я-то знаю, что ты ответишь, но и Эсти надо спросить, — промолвил мельник.

Жена с грустной улыбкой махнула рукой.

— Эсти, Эсти... что ее спрашивать, и так все ясно. В тесто для вареников соли насыпала, так ей голову закружил этот плут, — и встав, она поцеловала егеря.

— Иди сюда, дочка, — позвал мельник Эсти, которая, ни о чем не подозревая, вошла в комнату, но, почувствовав праздничную торжественность и увидев заплаканные гла-

за матери и серьезное лицо Миклоша, застыла от удивления.

— Я тут.

— Миклош к тебе сватается, скажи-ка, хочешь идти за него.

— Папа...

— Не обнимай меня, глупышка, меня поздравлять не с чем, вот уж двадцать лет, как я обзавелся женушкой.

— Не двадцать, а девятнадцать, — поправила его мельничиха, — Эсти, подавай на стол и садись рядом с Миклошем.

Ветер словно за тем и подул, чтобы развеять туман. Покончив с ним, он прилег отдохнуть на солнышке, и ни одна метелочка камыша больше не шевелилась. И тогда вдруг оказалось, что местность, в тумане казавшаяся пустынной, на самом деле густо населена: сюда сели отдохнуть перелетные дикие гуси, овсянки на лугу клевали семена трав, три сарыча кружили в воздухе, а четвертый что-то ел, сидя на акации.

Вода в реке продолжала прибывать и с ревом стремительно неслась на юг.

— Ох, что же, что же будет со мной, я едва держусь на ногах, — стонал старый Тополь, но река ему не отвечала, она тоже не знала, что будет с ним.

Берега размыло, и оторвавшиеся глыбы земли сползали в воду, увлекая за собой испуганные кусты, которые унесет далеко, на новое место река; там где-то они приживутся или погибнут, погребенные под слоем тины.

Лутра принюхивался, потому что мутная желтая вода залила весь туннель, и в ней растворялся мерцающий свет.

— Что-то надвигается, — помрачнев, взглянул он на свою супругу, ведь выдры успели пожениться, не предавая это событие гласности. — У меня дурные предчувствия, — втянул он носом воздух, — но надеюсь, беда не случится.

— Весь берег сотрясается, — просопела самочка, — и голос у реки тревожный, — она повернулась мордой к туннелю. — Гляди!

Вынырнув из водоворота, в устье туннеля заползла большая зеленая лягушка. Вода, видимо, вымыла ее из жилища, и теперь она, еще не совсем проснувшись, растерянно моргала. Лутра пренебрежительно отвернулся, давая понять, что его ничуть не интересует эта незваная гостья, самочка же немедленно позаботилась о том, чтобы лягушка так и не проснулась. Потом она легла возле супруга, но глаза у нее оставались открытыми, потому что в воздухе чувствовалось какое-то напряжение и даже с сухой стенки слегка осыпалась земля.

Кроме рокота реки слышалось лишь карканье ворон, да и то изредка и издалека. Нора точно стала слепой и глухой, в нее не проникал теплый свет сиявшего над миром солнца.

В лесу быстро высыхали опавшие листья.

— Клю-клю-клю, — спланировал большой зеленый дятел, и его звонкий крик разнесся среди деревьев как весть о весне.

Потом он застучал по стволу, но вскоре перестал и, опустившись на землю, принялся наводить порядок в муравейнике, подбирая клейким шероховатым языком личинки и насекомых.

Высоко над лесом летят дикие гуси; они держат путь к расположенным вдали озерам: им хочется пить, но сесть на буйную реку они опасаются. Позднее, наверно, они вернуться, а может быть, проболтают там до самого вечера и, спрятав голову под крыло, проспят всю ночь, убаюканные небольшими волнами. Озера неглубокие, даже выдре нельзя незаметно подплыть к птицам, можно спать в полной безопасности.

— Га-га, лилик-лилик! — кричат молодые гуси. — Какое здесь лето, какое прекрасное лето! — И опускают лапы в воду.

Вода тут теплей, чем в самые теплые дни на их северной родине, и мягкая, как бархат.

Старые гуси хранят молчание.

— Ешьте, ешьте, но будьте осторожны, — чуть погода принимаются они наставлять молодых.

Это все, что они говорят, но в этом мудрость опыта и предостережение: зима началась и может затянуться надолго; она не пощадит слабых, невыносливых птиц.

В камышах то одна, то другая сорока подлетает к дохлым собакам посмотреть, не исчезло ли пугало, но оно, разумеется, на месте, и белая тряпица — красноречивый запрет.

Над деревней высоко в небе вьется голубиная стая. То и дело мелькают белые крылья, но одного голубя в стае определенно не хватает — ведь полчаса назад ястреб Килли, наметив самого слабого летуна, преследовал его до тех пор, пока не сцапал. Увлеченный погоней, не считаясь с близостью людей, он загонял свою жертву и на середину двора, и залетал следом за ней в сарай и в конюшню. От ястреба не спасешься; напуганная стая голубей долго еще кружила в вышине, в то время как он давно уже закусил их товарищем, а остатки — если что-нибудь осталось — бросил: авось кому-нибудь пригодятся.

Вороны и сороки, разумеется, охотно подбирают крошки с его стола. Но ястреба — особенно дородной самки — следует остерегаться: кто знает, когда, зажаждав крови, он, беспощадный, потребует дань со своих нахлебников. Тогда поздно вопить родне: кого Килли схватил за шиворот, тот от него не уйдет. Иногда собирается туча серых ворон, и они, в конце концов, отгоняют ястреба от его жертвы, но это все равно что подковывать сдохшую лошадь.

Но вот голос реки изменился. Рокот ее стихает, берега словно вздыхают с облегчением, опомнившись от испуга. Не стонут большие балки мельницы, их треск никого не пугает и вовсе не мешает двум людям, которым кажется, что не зима идет, а наступила весна, хотя солнце светит неярко, и в его обманчивом свете беспечные кусты орешника не качают своих лодок-скорлупок.

Эти двое людей медленно бредут по лесной дороге, почти

безмолвно, ведь слова — это лишь неуклюжие, переваливающиеся из стороны в сторону утки по сравнению с ласточками мыслей и чувств.

Когда Миклош, встав из-за стола, попрощался, мельничиха сказала:

— Дочка, проводи жениха до леса.

И теперь Эсти провожает Миклоша, идет с ним под руку, идет медленно, чтобы продлить этот день.

— Миклош, миленький, приходи к нам завтра ужинать.

— Тетя Юли убьет меня, но я и мертвый буду у вас.

— Приходи лучше живой, Миклош, миленький. А тете Юли скажи, я целую ее, она такая добрая.

— Хорошо, голубка, все передам.

— Передай слова, а не поцелуй. Дальше тополя я не пойду.

Уже приближался вечер, и тень старого дерева падала на реку. С полей подул ветер, и когда молодые остановились под топодем, его тянущиеся к небу ветви жалобно шелестели, со вздохом покачивались, словно стремясь за что-нибудь ухватиться. Уровень воды в реке быстро поднимался, и над раскисшими берегами уже плыла дымка, как бы предвестница ночного тумана.

Они стояли молча глядя друг другу в глаза, как вдруг раздался громкий треск, шелест листьев, и Миклош едва успел оттащить девушку подальше от берега.

Будто со стоном, треща разорвались корни, разверзлась земля, и старый тополь с шумом рухнул в реку.

Бледная как полотно Эсти вцепилась в плечо Миклоша, а он, потрясенный гибелью старого дерева, указывая рукой на берег, взволнованно воскликнул:

— Смотри! Смотри!

Корни подняли огромную глыбу земли, служившую крышей в норе, и две выдры, выпрыгнув из ямы, с плеском нырнули в воду.

Дрожь от волнения, Миклош так сильно сжал руку девушки, что она вскрикнула.

— Значит, здесь они жили. Видела, видела ту огромную?

— Миклош, миленький, если бы не ты, я бы тоже свалилась в реку.

— Не бойся, я всегда буду беречь тебя, дорогая. Ох, какая огромная выдра... А ружье у меня не заряжено. Эсти, голубка, провалиться мне на этом месте, если я не подарю тебе ее шкуру.

Уже наступили сумерки, когда Эсти пошла домой. Егерь провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду, но мысли его были поглощены Лутрой, промелькнувшим перед ним, как чудесное видение.

На другой день сокрушенные вороны долго кружили над рухнувшим деревом, пока наконец не сели на старый дуб, одиноко стоявший на лесной опушке.

— Ка-а-к гр-р-рустно, старый дуб, тополю пришел конец. Теперь мы будем на тебе сидеть-отдыхать.

Но дуб не любил эту шумную ораву.

— Пожалуйста, пожалуйста, — шелестели сухие, твердые, как кость, листья. — Тут у вас будет хорошее местечко. Сюда обычно приходит егерь, да так тихо подбирается, что вы его и не заметите. Оттуда приходит, от тех кустов.

— Ох! Ка-а-ак гр-р-рустно, очень гр-р-рустно, но ты прав, — и вороны полетели к полям, где возле дороги стояла акация, на которой обычно обедали сарычи и пустельги.

— Пусть они убираются подальше! — трещали серые вороны. — Пусть отправляются к себе на родину! Теперь это дерево наше, мы им покажем! — и они понеслись к акации, на которой отдыхала только одна птица, но это был не сарыч, а балобан.

Трудно сказать, кто балобан, северный пришелец или местный житель: если нет сильных морозов, он остается в Венгрии, а если зима выдастся суровая, улетает на юг. По нему не видно, голодный ли он, усталый ли. Он сидит неподвижно, только глаза оживленно поблескивают.

— Прочь отсюда! Прочь отсюда! Убирайся, это наше

дерево! — трещали вороны, многие из которых видели балобана впервые.

Но старые вороны вели себя осмотрительней и лишь с высоты осыпали проклятиями благородную птицу, однако в их голосах звучало также предупреждение чересчур наглomu молодняку.

— Осторожней, осторожней кар-кар! Это же не сарыч Къё, неуклюжий глупый мышелов Къё, а господин Шуо. Осторожней!

Но молодые не слушали старых. Балобан был меньше и худее, чем сарыч, — чего его бояться?

— Вон отсюда! — каркали они, и когда балобан спорхнул с дерева, они увязались за ним, но он оставил их далеко позади, как гоночный автомобиль — одноконную бричку.

И как он летел! Один, другой взмах крыльев, и балобан уже поднялся на стометровую высоту. Минута, — и он возле леса, еще минута, — и он у камышей; молниеносно, с необыкновенной легкостью пронесся над камышовыми зарослями.

Потом он повернул обратно и, пока вороны усаживались на дерево, он уже приблизился к ним.

— Шуо вернулся, вернулся, посмел вернуться, — каркали молодые. — Ну, мы ему зададим! — И, распаленные, они лихо слетели с веток акации.

Балобан промелькнул высоко в небе.

— За ним!

— Кар-кар! Остановитесь, ой, кар-кар! Что вам говорят? За балобаном разве угонишься?

Он вернулся сам, промелькнул, как шипящая молния, и схватил самую большую ворону, да с такой силой, что от нее отделился и стал спускаться к земле клоч перьев; балобан же, еще раз мелькнув, унес в своих когтях навеки смолкшую жертву.

Вороны на секунду окаменели от ужаса, потом со смертельной ненавистью устремились вслед за балобаном, который с грузом летел довольно низко. Сев возле леса на жековой камень, он стал рвать ворону на части, так что перья полетели в разные стороны.



— Он расправляется с ней, уже расправляется! — каркали вороньи родичи, планируя на врага, но на этот раз уже остерегаясь и каждый раз в нескольких метрах от земли вновь устремляясь ввысь.

Их гвалт приманил сороку. Вынырнув из леса, она робко перепархивала с одного дерева на другое и, увидев балобана, тихо застрекотала:

— Вы спятили, окончательно спятили! Какая неудачная затея! С господином Шуо шутки плохи. Смотреть даже страшно. . . — и она тихонько повернула обратно в лес.

Сорока, разумеется, жалела не ворон, а свою собственную шкуру.

Балобан же прекрасно позавтракал, не обращая на вороний крик ни малейшего внимания. Сидя на куче окровавленных перьев, он вырывал из вороны кусочки мяса вместе с маленькими перышками, которые сходили за гарнир; содержащаяся в них и костях известь необходима ему для пищеварения.

Балобан не знал этого, но ему хотелось поест перьев, а то, что хочет здоровый организм, идет ему на пользу. Кто учит теленка лизать стену? Никто. Теленок делает это инстинктивно, потому что его хрупким костям нужна известь.

Содержащиеся в костях, волосах и перьях известь и фосфор нужны балобану, как и всем хищным птицам, не только для укрепления костей, но и для замены выпадающих при линьке перьев.

Но вот балобан стал глотать уже медленнее, то и дело останавливаясь, посматривая вдаль, точно раздумывая, продолжать ли трапезу. Потом, не устаивая вниманием ворон, бранящих его с соседних деревьев, точно невесомый оторвался от земли и на небольшой высоте полетел к реке. Но достигнув ее, он резко повернул, устремился к лесу и исчез.

Миклош, разговаривавший с Янчи, и не заметил редкого в этих краях хищника.

Рыболовный кооператив купил у поселкового совета

старый тополь, и теперь рыбаки пришли на берег с топорами, пилами, приехала туда и телега, но главная роль в предстоящей операции отводится не ей, а лошадям. Никто больше не пожелал приобрести старое дерево, ведь ценность его невелика, а вытаскивать его из реки трудно и опасно. Для этого и потребовались лошади.

— Мы тут распилим ствол, Янчи. Пень не трогайте, пусть остается. Он мне понадобится.

— Для чего же?

— Потом скажу. . . Приступайте к работе, пока дерево держится на воде, спиленные ветки прибьет к берегу. Лошади вытащат ствол, а вы займетесь разделкой. Когда вода совсем спадет, доберетесь и до верхушки тополя.

Янчи заглядывает в яму: пол сухой норы устлан мхом и листьями.

— Неужто выдра такая большая?

— Коли я не видел бы ее своими глазами, средоу не поверил бы. Знаешь, Янчи, вместе с хвостом метра полтора. Вторая рядом с ней точно крыса.

— Сколько мы над норой ходили. . . Чего ж ты не стрелял?

Миклош не поднимает глаз от земли.

— Ружье у меня было не заряжено. А потом. . . я едва успел оттолкнуть Эсти, ведь дерево чуть не утянуло ее за собой в реку.

Теперь и Янчи не поднимает глаз от земли.

— А-а-а, — тянет он. — Понятно, понятно.

Потом они обмениваются взглядами.

— Вчера я к ней посватался и теперь в женихах хожу, но никто кроме тебя, Янчи, об этом не знает. Не люблю, когда судачат на мой счет.

Сняв шляпу, рыбак молча протягивает ему руку; и это крепкое рукопожатие заменяет теплые поздравления и пожелания, которые передаются от Янчи Миклошу как электрический заряд.

— Мы так решили: шафером Эсти будет дядюшка Габор, а моим ты.

— Спасибо, Миклош, за честь, — говорит Янчи, опираясь на топорнице. — Ты мог бы найти шафера и получше.

— Два сапога — пара. Мне подходит бродяга, пропахший рыбой, такой же бедняк, как я. . . Ну, пойду.

Растроганный Янчи подошел к лесорубам. Они уже приладили большую пилу к стволу тополя, и — хр-хр-хр — ее зубья, звонко распевая, врезались в дерево, разбрасывая белые опилки по темной земле.

Внезапно налетел ветер. Разгоряченные работой люди и не обратили на него внимания, но старый рыбак надвинул шляпу на вспотевший лоб.

— Поторапливайтесь, ребята, погода портится, недаром поясницу у меня ломит.

Солнечный свет постепенно мерк. Тумана не было, но солнце подернулось опаловой дымкой. Ветер стих. Замерзшие лесорубы били в ладоши, дули на руки, а потом разожгли на берегу костер. К огню присел и возвращающийся домой Миклош, ведь одет он был легко, а тут внезапно похолодало.

— Вот выпадет снег, тогда тебе легче будет выследить эту необыкновенную выдру, — сказал ему Янчи. — У дядюшки Габора поясница болит, значит скоро мороз наступит.

— Я как раз думаю, куда скрылись выдры, их же пара.

— Выпадет снег, увидишь следы.

— Надеюсь. Я даже пообещал Эсти выдровую шкуру.

— Ну, раз жених обещает. . . — улыбнулся Янчи.

— Я сдержу обещание. Если, конечно, пристрелю выдру или она попадает в капкан. Но у меня есть и другой план. Эту нору, Янчи, закрой толстым слоем веток. А сверху насыпь немного земли.

— Будет сделано. Но тогда я первый измерю ее шкуру.

— Договорились.

Потрескивал огонь костра, но дым, не поднимаясь кверху, стлался над землей и таял. Его горьковатый запах попола вдоль реки, и когда Лутра его почуял, ему даже не могло прийти в голову, что рыбак Янчи Петраш собирается измерить его шкуру.

Нет, Лутра думал совсем о другом: он тяжело страдал, лишившись норы. Ложе между корнями ивы было тесное, а он не привык терпеть неудобства или делить с кем-нибудь кров. Оно было для него лишь временным пристанищем, где он изредка спал застигнутый поблизости расцветом и где чувствовал себя неплохо, пока у него была нора под старым тополем; а теперь они теснились под ивой вдвоем, и нельзя было и думать о том, чтобы прожить здесь зиму.

Это была та нора, которую спасавшийся бегством хорек обдал своими зловонными выделениями, но запах уже выветрился. О немногих гниющих объедках позаботились муравьи и маленькая выдра, которая, переселившись сюда, тут же принялась за уборку. Она перегрызла свисавшие корни и устроила неплохую постель, но нора оставалась тесной, и расширить ее было трудно.

Больше всего выдр смущало, что в дупло старой, почти пустой внутри ивы вело круглое отверстие, выдолбленное на двухметровой высоте каким-то усердным дятлом. Они не знали покоя. Любопытная синица, заглянув в дупло, спросила:

— Цир-цир, цин-чере, чере-чере, есть тут кто-нибудь?

Никто в полумраке не отвечал, и тогда она пропищав:

— Никого нет, никого, — улетела.

Потом появился дятел, в красной шапочке, со всеми своими инструментами.

— Ри-ти-ти-ти-ти, — закричал он еще издали. — Достану долото, молоток. Где у тебя болит, старая ива? Спокойно, спокойно, сейчас найдем... Тук-тук-тук.

А внизу маленькая выдра принялась раздирать зубами корень, видя, что глаза Лутры бегают от ярости. Будь она человеком, она бы сказала:

— Не волнуйся, голубчик, не волнуйся, пожалуйста. Я все улажу.

Но поскольку это была выдра, она продолжала раздирать корень. Щелкнув, он разорвался, и доктор дятел вне

себя от страха, прихватив свои инструменты, спасся бегством.

— Ти-ти-ти-ти, — затараторил он. — Ух, как я напугался! Кто-то сидит в дупле, кто-то там шевелится.

Стало быть, от дятла можно было отделаться, но от ветра нет.

Налетал ветер и, пользуясь любым случаем, щеголял своими музыкальными способностями. Отверстие дупла, аккуратная круглая дыра, удивительно подходило, чтобы играть на нем, как на флейте или гобое, смотря по тому, откуда подуешь: сбоку или сверху, изо всей силы или потихоньку, проверяя акустику и резонанс.

Выдры не знали ни минуты покоя, ведь из-за завывания ветра они ничего не слышали, а когда наконец наступил вечер, закричала маленькая болотная совушка, сообщая полуночникам, что умер старый тополь, на лесной опушке валяются перья Ра и молодая госпожа Зима грозит смертью лесами и полям, всему. Да, грозит смертью.

— И тебе? — спросил совушку Карак, весело помахивая пушистым хвостом. — И тебе тоже?

Лис держал путь к деревне — у него было там важное дело, — и его зеленые глаза злорадно поблескивали в темноте.

Для пущей важности совушка надулась и, как все вещуньи, уклонилась от прямого света.

— Ветер так сказал, да и всем известно.

— А раз всем известно, кому ты кричишь?

— Всем. Чтобы напомнить. И тебе, Карак, нельзя забывать об этом. Вот полечу за тобой и все твердить буду, что идет зима.

Лис во весь дух помчался к лугу, заросшему камышами, и залег там с краю под кочкой.

— И чего я всех задираю? Пора уж образумиться. Она еще увяжется за мной.

Но Ух по-прежнему сидела на дереве; как и все вещуньи, она не любила неприятных вопросов и хотела лишь поугагать Карака.

Пришел уже час охоты, и маленькая выдра посмотрела сначала на мужа, потом на выход из норы, но Лутра не трогался с места, точно говоря:

— Иди. А я еще тут побуду, погода где-нибудь встретится.

Самочка долго прислушивалась к плеску в коротком туннеле, нюхала воду, ожидая, не передумает ли супруг, но он не шевелился, и она тихо нырнула в реку.

Лутра свернулся клубком; он чувствовал, что снаружи что-то происходит, хотя ни свет, ни звук, ни запах не предупреждали об опасности. После разрушения норы под старым тополем в его душе словно осталась незаживающая рана, и он тосковал по чему-то далекому.

Он не хотел ни есть, ни пить, у него ничего не болело, он ничего не боялся, однако был угрюмым и недовольным, — ведь он лишился старой норы и вместе с ней точно лишился всего — и реки, и жены. Они не перестали существовать, но больше не были ему нужны, он не желал их видеть. Его прекрасный инстинкт словно вооружился какими-то щупальцами; чуткая антенна чувств излучала разведывательные волны, пока где-то далеко, на горах, не отразились колебания, и тогда он успокоился. Точка, намеченная волнами его желания, уже появилась на безошибочной карте, запечатленной в его мозгу, но Лутра не торопился.

Небольшой сыч улетел с дерева, и вокруг наконец воцарилось глубокое молчание. Луна еще не взошла, свинцовая завеса тумана скрывала звезды; немые подручные северного ветра подышали на поля, от чего даже на дорогах выпал иней.

Старый заяц Калан, поведив носом, принялся, и усики его нервно зашевелились.

— Что-то чувствуется в воздухе. Не нравится мне это, не нравится.

Даже хомяку плохо спалось. Ему приснилось, что его амбары опустели, и он тут же проснулся. Почесав толстое брюшко, обошел замурованные двери и от непривычной

суеты проголодался. Основательно закусил кукурузой и погрыз овса, который легче переваривается. Потом побрел к своему ложу и, поерзав немного, закрыл глаза.

— Надвигается непогода, но как-нибудь ее перетерпим. Тяжелая жизнь, — засыпая, вздохнул он и пожалел себя, хотя в норе было тепло, как летом.

Кроме себя, он сроду никого не жалел.

— Нам холодно, ой, как нам холодно, — пищали мышата, одетые в плохонькие пальтишки, и их черные с булавочную головку глазки испуганно вглядывались в темноту.

— Залезайте в гнездо и прижмитесь друг к дружке, — советовали им родители. — Все умные мышата давно уж спят. Что вы тут вертитесь под ногами?

— Нам холодно.

Отверстия в мышинных гнездах не были заделаны, и туда проникал ледяной ветер со снежных гор. Мыши замолчали. Только дикие гуси весело шумели сидя на воде.

— Лилик-ли-ли-ли, какой приятный родной воздух!

— Га-га-га, — говорили старые гуси. — Как бы чего не вышло!

Вода еще не совсем остыла, но какой бы она ни была холодной, Лутру это не беспокоило, — ведь выдра сохраняет постоянную температуру тела даже на льду. У воды же есть особое свойство, отличающее ее от других веществ. И прекрасное свойство! Даже при самых сильных, трескучих морозах, если глубина воды больше метра, она не промерзает до дна.

Все вещества от холода сжимаются, а от тепла расширяются. Чем холодней, тем плотней и тяжелей становятся разные тела, но только не вода. При плюс четырех градусах она, заупрямившись, говорит: «Хватит!» Придонный, самый тяжелый слой воды, имеющий температуру плюс четыре градуса, не может сдвинуть с места ни более холодная, ни более теплая вода, а лед не опускается вниз, так как это твердое вещество легче, чем вода при четырех градусах тепла.

Нижний слой воды сохраняет жизнь водным обитателям. В нем живут рыбы, раки, улитки, лягушки, змеи и миллиарды микроскопических простейших организмов, производящих за месяц более многочисленное потомство, чем люди, которые когда-либо населяли или будут населять земной шар. Если бы вода в реках и озерах замерзла до дна, там, во льду, погибла бы всякая жизнь.

Стало быть, это свойство прекрасное, хотя и необычное.

Воду при плюс четырех градусах нельзя, разумеется, назвать теплой — человеческое сердце в ней через несколько минут остановилось бы, — но животные приспособляются, ибо таков закон жизни, и вода — великая сила.

В холодной воде ее обитатели, например рыбы, не могут, да и не хотят вертеться вьюном. Температура тела у рыб такая же, как у воды, в которой они находятся, и это определяет их образ жизни: время спаривания, потребность в еде, законы пищеварения, время зимней спячки, не похожей ни на сон, ни на жизнь, — ведь зимой рыба едва дышит, неделями не ест, и сердце у нее еле бьется. Моторчик жизни работает вхолостую, поэтому ему нужно очень мало горючего.

Но Лутру, как мы сказали, не интересуется особое свойство воды. Шуба греет его всегда, верней почти всегда одинаково, и ему все равно, свирепствует ли на водных просторах госпожа Зима, или полногрудая мать Лето, тряся пропахшей сеном выцветшей юбкой, кормит миллионы своих безымянных детей.

В мозгу у Лутры, на карте, обозначилась точка, и он плывет вверх по реке, все больше удаляясь от старой норы и самки. Теперь он уже торопится, его тянет куда-то, словно эта точка постепенно завладевает всеми его помыслами и указывает ему путь в горы. Она обозначает воду, рыбу, нору, чужой и в то же время знакомый край, который он никогда не видел, но туманно представляет, где он находится.

Большая выдра с удивительной легкостью движется по водному пути. Она не голодна и не собирается охотиться.

Попадись ей на пути что-нибудь съедобное, она, конечно, не упустит случая, но сейчас не ищет его, не уклоняется от намеченной цели, не тратит попусту драгоценное время. Уже близилась полночь, когда она наконец приплывает туда, где река делает поворот на северо-восток и слышен равномерный шум воды у плотины. При этих звуках перед Лутрой как бы возникает мельница, а мельница вызывает образ человека. Когда река вновь круто сворачивает на север, Лутра, ни мгновения не колеблясь, словно путешественник, вооруженный картой, вылезает на берег.

Его дальнейший путь, он это ясно чувствует, пройдет не по воде.

Долго стоит он на берегу, глядя на реку, но его картинстинкт указывает направление точно на северо-восток, стало быть, надо покинуть реку, воду, надежную защиту, родную стихию. И он решительно направляется по суше туда, где горбятся голые хребты холмов. За ними в беззвучном мерцании виднеются горы, темнеют леса, перерезанные бороздами глубоких ущелий.

Лутра быстро пробирается сквозь прибрежный камыш и ползет извиваясь, ни быстро ни медленно по лысому склону холма. Выдра передвигается по суше совсем не так, как другие животные, она, можно сказать, ползет извиваясь. Ее короткие ноги и тело приспособлены для жизни в воде, однако она прекрасно передвигается и по суше.

Остановившись на вершине холма, Лутра принюхивается, прислушивается, но ночь безмолвна, и воздух мертв: все живые запахи убиты жестокими пособниками госпожи Зимы. Под его короткими лапами поскрипывает иней, и чем выше он карабкается, тем толще его слой. На вершине растут кусты, лесные часовые в юбочках, и одинокие искривленные деревья, годные лишь на то, чтобы в летний зной в полдень под ними отдохнул пастух, повесив на корявый сук свою сумку. Но сейчас трудно себе представить, что здесь когда-нибудь бывает иссушающий зной и мухи с жужжанием вьются над разморенными жарой овцами.

Следующий холм еще выше, и кустарник на нем гуще. Лутра пробирается через него, строго придерживаясь северо-восточного направления. Потом, когда под ногами начинают шелестеть опавшие листья, он замедляет ход и, оживленный, выходит на тропу, по которой можно продвигаться быстро и бесшумно. Все большая часть пути и почи остаются позади. Теперь тропа идет возле проезжей дороги, и Лутра не торопится: в воздухе появляются такие же запахи, как возле мельницы: запах конюшни, сена, остывшего дыма, корочке, человеческого жилья. Однако стоит мертвая тишина, и большая выдра долго смотрит на притаившийся в углу поляны дом лесника. Она не шевелится, и шум, доносящийся из конюшни, скорей даже успокаивает ее. Но там, верно, есть собаки, а поблизости нет воды, стало быть, трудно спастись бегством, и если придется вступить в поединок, он будет не на жизнь, а на смерть.

Лутра в раздумье принюхивается: он голоден. И бесшумно приближается к дому: вздох по сравнению с производимым им шумом точно громохание телеги. Место тут беспокойное, и его ведут не только органы чувств, но и волшебная палочка инстинкта, она словно указывает путь через сад к хлеву, откуда доносится тяжелый кислородный запах гуся.

Возле ограды в закутке большого хлева тяжело дышит жирный, откормленный гусь..

Дверь навешена на деревянные петли. Лутра ищет щель, и когда прикасается лапой к запору, петля выскакивает и дверь приотворяется.

В хлеву полная тишина, и выдра сразу же хватается гуся за шею. Он не успевает издать ни звука и, дернувшись, тут же затихает.

Гусь тяжелый, но большая выдра легко, точно мешок, тащит его через сад, потом по поляне и останавливается только на значительном расстоянии от дома, в лесу, где ей уже не грозит непосредственная опасность.

Что и говорить, такой отличный обед Лутра за всю свою

жизнь ел нечасто. Трижды он уже переставал есть, но принимался вновь: очень уж соблазнительна была мягкая жирная гусятина, — пока наконец петух лесника не возвестил рассвет и Лутра решил, что пора тронуться в путь, ведь от человеческого жилья лучше держаться подальше.

И в этом он не ошибся.

Утро принесло с собой не только свет, но и страшный шум, поднявшийся возле дома лесника. Сначала по оглушительному крику можно было подумать, что убивают женщину, а потом, — что она других убивает. Это кричала жена лесника, здоровенная баба, высокая, толстая, с зычным голосом, не отличавшаяся голубиной кротостью престелной Эсти. Она то замолкала, то в крайнем возмущении принималась снова орать.

— Полпуда, полпуда в нем было, и сколько я мучилась с ним, а теперь . . .

— Что опять стряслось? — донесся с крыльца бас.

— Иди сюда, иди сюда, я же говорила тебе . . .

Лесник был тощий, длинный, необыкновенной длиной отличались и его усы. Даже разлохмаченные, они производили внушительное впечатление.

— Не затопчите следы, — сказал он.

— Чего там следы, вор уж сбежал, поминай как звали! А ты говорил, лиса сюда не ходит.

— Это не лиса была, — он с недоумением уставился на огромные следы Лутры.

— А кто же это, леший его возьми, крокодил что ли?

— Выдра!

Лесник, как был в шлепанцах, пошел по следу; потом свистнул, на свист из кухни выскочила и понеслась к нему лохматая легава.

— Ничего подобного ты, Валет, и не видывал. Погляди-ка!

Пес помчался по следу и скрылся в кустах.

— Ну и следы, вот это да, какой зверь громадный! И что ему в горах надо?

— Гав-гав! Нашел! — донесся из зарослей хриплый лай

Валета; лесник свистнул, и пес выбежал из кустов, держа в пасти жалкие остатки гуся.

Подобострастно вертя коротким хвостом и даже виляя задом, он кладет свой трофей у ног хозяина.

Внимательно осмотрев остатки гуся, лесник поднимает их с земли.

— Нам, Валет, придется теперь долго помалкивать, — говорит он, глядя собаку по голове. — Ну, что же делать?

Он бросает остатки гуся на крыльце. В кухне, сидя на стуле, плачет, причитает женщина.

— Полпуда в нем было, а может, и больше. . . Говорила я, сторожевая собака нужна, а не эта паршивая легавая. Она всю ночь дрыхнет на кухне.

— Чего ты повадился ходить в дом? Пошел вон, Валет!

Ожидавший похвалы пес, поджав хвост, крадется на крыльцо, обнюхивает гуся и думает, не закусить ли им. Но верх берет дисциплинированность, и он ложится возле трофея, рыча на кошку, проявляющую живой интерес к гусятине.

— Хр-р-р, кр-р-р, — говорит он, и тогда кошка важно удаляется на кухню.

— Попробую выследить выдру, — поспешно одеваясь, говорит лесник. Она откуда-то издалека. Коли удастся застрелить ее, на деньги, вырученные за шкуру, ты сможешь купить тройку больших гусей. Положи в сумку побольше хлеба и сала, не знаю, когда вернусь. Налей в термос чая и палинки тоже дай. Обоих ребятишек возьму с собой на охоту.

— Они еще спят, сейчас разбужу их, — говорит жена, утешенная обещанием получить выдровую шкуру.

Утро на дворе едва занимается, словно никак не может набраться силы едва мерцающий свет. Заиндевелый лес полон предчувствий; в двух шагах ничего не видно; звуки замирают на земле, и слышится только тихий шелест инея, осыпающегося с веток на замерзшие окостеневшие листья.

Забыв обиду, Валет стоит перед кухонной дверью: он

слышит голоса двух мальчиков, с волнением собирающихся на охоту.

Один из них сын лесника, а другой племянник, который, забыв о школе и городе, проводит здесь каникулы.

— Выдра! Точно выдра?

— Она.

— Дядя Лаци, а вам приходилось уже убивать выдру?

— Одну как-то пристрелил.

— Но ведь она у воды живет?

— Да.

— А как она тут оказалась?

— Бог ее знает! Поешьте и пойдем.

Лесник, человек молчаливый, за всю зиму не говорит столько, сколько теперь, когда в доме два мальчика.

— Остатки гуся надо б пожарить для Валета.

— Куда подевался этот злополучный Валет?

Услышав свою кличку, пес, повизгивая, скребется в дверь.

— Я тут, тут, — скулит он. — Слышу свою кличку, чую вкусные запахи, но меня не впускают. Неужто никто не вспомнит обо мне, бедняге?

— Ну, входи, — сменяет гнев на милость жена лесника. — Этот мерзкий зверь мог и меня утащить.

— Тебя, мама? Да тебя даже медведь не утащит, — улыбается один из мальчиков, с нежностью глядя на дородную женщину.

— Он, пожалуй, поломает об нее все зубы, — замечает немногословный лесник.

— Оплеуху хотите заработать?

Валет возбужденно тычется носом в колени хозяйки, точно говоря:

— Сколько лишних разговоров, пустой болтовни, а поест мне дадут наконец?

Гнев и раздражение женщины уже испарились. Она кормит мужа, мальчиков, Валета, и никто уже не вспоминает о несчастном жирном гусе, весившем полпуда, а может быть, и больше.

О нем не вспоминает и Лутра, что, разумеется, с человеческой точки зрения, черная неблагодарность. Но у него другие заботы. Ориентируясь по своей карте, он понимает, что до дальних вод затемно не добраться и надо подумать об убежище на день. А в чужих краях это задача нелегкая. Сначала он торопился, поднимаясь все выше в гору, но поблизости не попадалось подходящего ложа. В лесу стояла глубокая тишина, лишь временами падал иней с веток, и они, сбросив лишнюю тяжесть, распрямлялись.

Лес был прорезан просеками, Лутра несколько раз выходил к ним и переползал их, только хорошо осмотревшись.

Хотя на просеках нет дорог, но и по ним иногда проезжают телеги; эти прямые, шириной в пять-шесть метров проходы отделяют обычно деревья разных возрастов и пород.

Когда дуб, бук, ясень и сосна дают наибольшее количество хорошей древесины, приходит время их вырубать. Деревья более ценных пород растут медленнее, чем малоценных, с твердой древесиной медленней, чем с мягкой. Вот, например, тополь за тридцать лет станет огромным деревом, со стволом чуть ли не в метр толщиной, а тис и за сотню лет не догонит его в росте. Акацию, хотя она и дает ценную древесину, можно рубить через двадцать-тридцать лет, а дубы — лишь через сто, не говоря уж о гигантских хвойных деревьях в Северной Америке, которые, правда, достигают толщины в пятнадцать-двадцать метров и высоты в сто тридцать, но нужны им для этого три-четыре столетия.

Но Лутру не интересовала высота и толщина деревьев. Он лазил по ним так же плохо, как белка плавает. Во время летних скитаний случалось, конечно, что он неловко вскарабкавался на какую-нибудь низко склонившуюся иву с пышной кроной, но только для того, чтобы погреться на солнышке, хотя, не будем отрицать, его занимал и открывающийся вид. Однако, сидя на дереве, о спасении бегством думать невозможно.

Он проделал уже значительный путь, когда внезапно наступило утро, и надо было срочно искать убежище.

Лес здесь круто поднимался в гору, и местами проступали камни, еще выше отвесная скала, наклонившись, словно смотрела в долину.

Подняв голову, Лутра направился к подножию скалы, обросшей густым кустарником, в котором могло оказаться что-нибудь похожее на нору. С трудом пробравшись сквозь чащу, он заполз под можжевельник; дальше началась отвесная скала и идти было некуда. Он не стал долго раздумывать, а разгреб опавшие листья и, посапывая, улегся. По его понятиям, он сделал все возможное для защиты и поэтому, вздохнув, закрыл глаза, даже и не подумав, что у людей о нем свои соображения. Да и у людей соображения разные. Оба мальчика, к примеру, хотят охотиться неподалеку от дома, на лесной делянке.

— Идите за мной! — машет им рукой лесник.

И они опять лезут в гору; впереди отец, возле него Валет; когда кто-нибудь из ребят его окликает, он помахивает коротким хвостом, однако не покидает хозяина; потом городской племянник и позади малыш Лаци.

На третьей поперечной просеке они останавливаются, и лесник шепотом отдает приказ:

— Пойдите здесь, пока я дойду до следующей просеки. Когда сверну на нее, идите и вы. Ты, Лаци, вместе с Валетом пройдешь две сотни шагов, а ты Йошка, сотню. С места трогайтесь одновременно, идите прямо ко мне, не спеша и тихо постукивайте по стволам...

Пес в задумчивости смотрел вслед хозяину и вильнул хвостом, что означало:

— Хорошо, я останусь, раз это приказ, хотя предпочел бы пойти с тобой.

Когда лесник свернул на другую просеку, двинулись и мальчики; они шли друг за другом, изредка переговариваясь шепотом.

— Стой тут, Йошка. Валет, пошли.

Пройдя еще сотню шагов, остановился и Лаци. Он поднял руку: можно, мол, начинать гон.

Лесник уже застыл на месте, с ружьем в руках. Мальчики были от него в пятистах-шестистах шагах, а между ними Валет. Ребята гнали по всем правилам: время от времени кашляли и постукивали по стволам деревьев, а собака, принюхиваясь, бегала от одного мальчика к другому. Никакого больше шума не доносилось, но лесник уже понял, что на этой делянке им выдру не затравить; он обнаружил ее следы, ведущие на соседнюю делянку.

Как только начался гон, за густым заиндевелым кустом, будто призрачное видение, мелькнула какая-то тень. Лесник стал медленно поднимать ружье. Возле другого куста, значительно ближе, показалось какое-то рыжее пятно. Ружье уже было у плеча, а между двумя деревьями стояла красивая лисица.

Она остановилась, чтобы прислушаться к шуму загонщиков, и ее тут же сразил выстрел.

— Гав-гав-гав, есть, есть! Я побежал! — разорвался Валет, но его лай вдруг зазвучал иначе, и лесник, пошарив по карманам, спешно перезарядил ружье.

— Гав-гав-гав, вау-вау, приближаются, приближаются! Ой, уже приближаются! Погонюсь за ними!

По густому лесу, шурша лиственной, бежало небольшое стадо кабанов. Впереди старая кабаниха, за ней красивые кабанчики. Ружье нацеливалось то на одного, то на другого, но не спешило выстрелить, словно ждало кого-то еще, и не напрасно: за стадом чуть в стороне показался крупный кабан.

Раздалось два выстрела подряд, но кабан, не снижая скорости, скрылся в дальней чаще.

Шум стих.

Валет подбежал к лисе. Поглядев на нее с минуту, он схватил ее зубами и парадным шагом, как на цирковой арене, понес хозяину.

— Вот она. Я затравил ее и принес.

— Валет, — лесник погладил собаку по голове. — Валет, до чего ж ты умный пес!

Валет слегка подрагивал под тяжестью любящей руки, и глаза его светились счастьем и бескорыстной преданностью, свойственной, к сожалению, лишь собакам.

Подошли к леснику и оба мальчика и шепотом принялись обсуждать достоинства убитой лисы.

— Думаю, будет у нас и кабан, — сказал лесник. — Он ушел, но мы поищем его на обратном пути. Если я в него не попал и мы его сейчас спугнем, он побежит куда глаза глядят, во всяком случае, уйдет на соседнюю делянку. Пойдемте дальше. Поохотимся там. Пускай здесь все успокоится.

Выйдя на поперечную просеку, лесник остановился.

— Вы хорошо гнали, — похвалил он мальчиков. — Если бы Валет не спугнул кабанов, они прибежали бы сюда, словно овечки. И лисица как раз к вашему стуку прислушивалась, когда я ее застрелил. Впрочем, думаю, — он поглядел по сторонам, подкручивая свои необыкновенные усы, — надо нам поторапливаться. Ветер подул, и еще вчера начала портиться погода. Скоро снег повалит.

Ветер пока едва чувствовался. Повернувшись лицом к югу, лесник курил, лениво выпуская дым. Подернутый туманом склон горы казался совсем серым.

— Делайте все, как раньше, — распорядился он. — Валет, останься здесь!

— Опять? — пес покрутил хвостом с удивительным благодушием и смирением, свойственным опять-таки только собакам.

И начался второй гон.

С деревьев падал и падал иней. Тихий ветерок уносил на своих крыльях покашливание и постукивание мальчиков, до лесника этот шум не доходил, и поэтому, держа в руках ружье, он внимательно смотрел по сторонам, подмечая малейшее покачивание ветки. Мальчики, конечно, уже идут сюда, и если на этой делянке есть лисица, она вот-вот покажется: обычно она или выбегает из чащи, как только

начинается травля, или точно выжидает, пока застрелят всех глупых зайцев, а потом внезапно пересекает просеку.

Прошло несколько минут. Появился заяц и скрылся где-то за спиной пощадившего его охотника. Он и в лису выстрелил только потому, что был уверен, что выдры на этой делянке нет.

Вот с шумным негодованием взлетел фазан-петух, потом совсем близко на просеку выбежали две косули. Уже доносился стук мальчиков, а лесник все стоял и думал, зачем выдра пришла в эту скалистую местность. А если пришла сюда, то и успела уйти, ведь выдры, если уж пускаются в странствия, что с ними происходит редко, проделывают длинный путь. Поглощенный этими мыслями, он поджидал мальчиков, чтобы поискать вместе с ними кабана, как вдруг с молниеносной быстротой перед ним пронеслась огромная лисица. Он выстрелил, но поздно — было видно, как дробинки пробили иней на траве, — второй выстрел оказался удачней, и лиса, с шумом перекувырнувшись, растянулась в кустах.

Пышные усы лесника приподнялись в улыбке, — он поздравил и похвалил себя за меткий выстрел, но тут же остолбенел.

«Господи! Кто это? Ох! Если я ее...»

Мысли у него в голове пронеслись с невероятной быстротой, и в какую-то долю секунды он понял все. Вспомнил, как в первый и единственный раз убил выдру. Он словно сжимал в руках свое прежнее, старое ружье, видел лунную ночь. Но знал, что ружье у него сейчас не заряжено и перезарядить его он не успеет. Знал, что такую огромную выдру сроду не видывал и не увидит. Знал, что лучше не рассказывать об этом жене, которая даст ему тысячу советов, как надо было бы действовать, чтобы поставить мировой рекорд, убить этого гигантского зверя. Но знал также, что все ей расскажет, ведь иначе он и сам потом усомнится в реальности этого чудесного видения.

Все знал лесник, однако стоял, растерянный и беспомощный, с незаряженным ружьем, а Лутра тем временем

выполз на широкую просеку и, точно призрак, скрылся в кустах.

— Ох! — вырвалось у лесника, ведь рухнули все планы травли: гонная выдра не будет стоять на месте, а в нескольких шагах отсюда начинается чужой участок.

— Ох, ох! — вздохнул он так глубоко, что кончики усов взметнулись, как крылья погибающей птицы, и даже не взглянул на Валета, мчавшегося по лисьему следу.

— Гав-гав, тут она бежала, тут она бежала, я слышал треск веток, сейчас принесу ее, сейчас. Вау-вау, тут она, тут она!

Схватив зубами дальнюю родственницу нашего приятеля Карака, он торжественным шагом понес ее хозяину.

— Прочь отсюда, Валет, глаза б мои не глядели на эту паршивую лисицу.

Удивленный пес опустил трофей на землю, но потом, взяв его, вновь подошел к леснику и положил лисицу у самых его ног.

— Ты, Валет, молодчина. Молодчина, мой пес, но вот беда: если бы не подвернулась эта проклятая лисица...

— Еще одна! — ликовал Йошка. — Какой удачный день!

— Да, удачный! Сиди здесь, Валет! Стереги добычу!

Услышав приказ, пес только что не отдал честь и тотчас сел возле своего поверженного врага.

— Идите сюда!

— Что там такое, папа?

— Сейчас увидишь, — подойдя к следам Лутры, лесник вынул из сумки ружьку и, поглядев на мальчиков, сказал: — Здесь прошла самая большая в мире выдра, а у меня ружье не было заряжено.

Лутра и не знал, что его ценную шкуру спасла лисица. Все его внимание было сосредоточено на раздающемся позади шуме; треск выстрелов, незнакомая местность, шуршание падающего инея и тихий посвист встречного ветра привели его в такое замешательство, что он потерял ориентацию. Он видел, конечно, фигуру стоявшего за кустом

охотника, но она была такой неподвижной и расплывчатой, что опасность представилась ему более отдаленной, чем была в действительности. Пошевелившись лесник хоть слегка, и Лутра моментально обратился бы в бегство, а так он не особенно встревоженный скрылся в чаще. Теперь, правда, он торопился, особенно когда до него долетел победный лай собаки. Поднявшись на горный выступ, он прошмыгнул между мертвыми скалами и, бросив взгляд на окутанную дымкой долину, дальше пополз медленней, — ведь все звуки позади стихли, а он не любил бродяжничать днем.

Ландшафт становился все суровее. На этом, северном, склоне росло лишь, с трудом пробившись меж камней, несколько неприхотливых кустов можжевельника, два-три уродца буковых деревца, которые, прожив с полсотни лет, не достигли и пятиметровой высоты, и у подножия снежной вершины чахлая травка, украшенная мертвыми цветами инея.

У отвесной стены Лутра принюхался и, приметив темную расселину, направился к ней. Остановившись на ее краю, он наострил уши. Там, за глубокой трещиной шел, как он безошибочно чувствовал, длинный коридор, где вполне можно укрыться. Он заполз туда, и сразу к холодным запахам примешалось какое-то теплое живое испарение, не предвещавшее опасности. Лутра медленно поднимался по извилистому проходу и с удовольствием ощущал под лапами мелкий затверделый сухой песок. Коварный ветер и туманы на протяжении тысячелетий выветривали его из скал, а может быть, его размельчили камешки, которые катил вниз бушевавший здесь некогда поток. Но Лутра был практиком, и эти геологические вопросы его не занимали. Глаза у него уже привыкли к темноте, и он полз, время от времени останавливаясь и принухиваясь, пока наконец толстый слой песка на низком карнизе не показался ему подходящим местом для отдыха. Подняв обычно низко опущенную голову, он принялся взбираться туда и

вдруг остановился. Будь он человеком, то воскликнул бы:

— Ну и ну, да что же это такое?

Однако Лутра был выдрой и ничего не сказал, но, вспрыгнув на карниз, тотчас стал осматриваться, примеряясь, как добраться до висевшей высоко в воздухе пицци: в трещинах пещерного свода спали сотни летучих мышей.

Сотни маленьких зонтиков, отдельных или соединенных вместе, сотни мышей с кожаными перепончатыми крыльями, про которых суеверные люди думают, что они по ночам наводят порчу на коров и коз, так что те дают потом молоко с кровью, и еще что грызут колбасу, коптящуюся в дымоходе, и ветчину в коптильне. На самом же деле эти стоящие особняком, презираемые всеми животные — самые полезные, нуждающиеся в защите летучие друзья человека.

Летучая мышь, правда, не отличается красотой и плохо пахнет, но она уничтожает насекомых-вредителей, и тут никакие вещества и средства не могут ее заменить. . .

Нетерпеливо приняхиваясь, Лутра обдумывал, как ему заполучить завтрак из летучих мышей, и пока он думает, мы вкратце расскажем об этих животных, о которых наука знает много хорошего. Истребляя насекомых, переносчиков бактерий сонной болезни, малярии, тропической лихорадки, они приносят огромную пользу не только лесникам, хлебопашцам, садовникам, виноградарям, но и вообще всем людям.

Но будем справедливы, полезны лишь летучие мыши, живущие в наших широтах; из тех, что водятся в тропиках, некоторые поедают фрукты — налетев тучей, уничтожают весь урожай, — и попадают среди них и настоящие кровопийцы, высасывающие кровь у людей и животных. К чести их следует сказать: прежде чем приняться сосать кровь, они прибегают к обезболиванию, и спящий человек или животное не просыпается и особой беды с ним не происходит. К счастью, кровопийцами являются лишь маленькие летучие мыши, живущие в Центральной и Южной Америке, а не индийские летучие собаки и лисы с полутораметровым размахом крыльев. Эти гиганты питаются фруктами и хотя

очень любят пить, но не кровь, а вино. Пальмовое вино. Из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю крылатые лисы иногда погибают. В сосудах, поставленных для сбора пальмового вина, нередко находят утонувших зверей-выпивох.

Но вернемся к Лутре, который, пытаясь дотянуться до мышей, уже второй раз теряет равновесие и падает на брюхо. Летучие мыши висят на потолке пещеры, и добраться до них с карниза можно только встав на нем во весь рост. Опираясь на зад, выдра сидит устойчиво, но стоять на двух лапах она может очень недолго, это ей значительно трудней. Но терпение и труд все перетрут, и при четвертой попытке Лутра опять срывается с карниза, но уже сбив маленький зонтик, который издает тихий, похожий на скрип звук, прощаясь со своей загадочной жизнью. Потом, изловчившись, Лутра сбивает еще одну летучую мышь, и она, испуганно всплеснув крыльями, тоже скрипит, оставляя завещание. Но до других, на их счастье, он добраться не может да и не очень-то старается. Раскидав мягкий песок, он устраивает себе постель и, свернувшись на ней, закрывает глаза.

А пока выдра отдыхает, стоит посмотреть на свод пещеры, где, закутавшись в волосатые свои паруса, преспокойно спят погруженные в зимнюю спячку летучие мыши. У этих парусов-крыльев такая удивительная конструкция, а у самих животных такой удивительный организм — они и насекомоядные и млекопитающие, а кроме того, летают, — что их пришлось выделить в особую группу. Во всем их теле имеется множество очень тонких нервных окончаний, ощущающих малейшее колебание воздуха, так что летучие мыши, даже ничего не видя и не слыша, при полете ни на что не натываются. В некоторых случаях наука, к сожалению, не может развиваться, не прибегая к вынужденной жестокости. Поэтому приходилось ослеплять и оглушать их, даже лишать обоняния, и все же при полете они не задевали ни за одну из веревок, натянутых в помещении, где происходили опыты. Это свойство наших непривлекательных с виду друзей — ведь даже из самых добрых по-

буждений нельзя назвать их красивыми — уже почти двести лет как известно ученым. Но двести лет назад еще не знали, что летучие мыши, обладающие неприятным скрипучим голосом, издают еще «неслышные» ультразвуки, которые не воспринимает человеческое ухо. Испускаемые ими ультразвуковые волны отражаются от всех препятствий, даже от комариных крыльев, и тело этих летающих зверьков, сплошь пронизанное нервами, принимает ответные колебания. В этом причина того, что даже глухая и слепая летучая мышь знает, что вокруг нее происходит.

Поскольку мы уже достаточно много узнали о летучих мышах, а Лутра спит или, вернее, притворяется спящим, выглянем из пещеры: хотя долина лежит далеко внизу и ее не видно, чувствуется ее влекущая глубина. Воздух почти недвижим, однако с севера несет — трудно даже назвать это настоящим ветром — холодом, и сеет мелкая снежная пыль, бесшумно, как дым, опускающаяся на землю. Долина уже побелела, ничто не шелохнется, и даже каменное лицо отвесной скалы застыло в ожидании какой-то беды. Кто знает, как этот утес вот уже много миллионов лет сражается со временем? Но зима всегда бьет его по лицу. Царапает когтями, грызет зубами, изводит морозами и оттепелями, растопляет лед в его трещинах, взрывая камень, так что он сплошь покрыт ранами, с которых в теплые весенние и летние дни осыпаются стружья в долину.

Но гора выстояла в этой борьбе; она задерживает ветры, и на подветренных склонах, в южных мульдах, пещерах, расселинах и тайных подземных ходах оберегает спящих и бодрствующих детей лета.

Сейчас ветер не бушует, не завывает; он набегает тихо и бесшумно, как разлив реки, за которой простирается море.

Это чувствуют все идущие по лесу. Лесник поторапливает мальчиков, которые и без того весело и быстро спускаются с горы, таща с собою кабана. Две пули пронзили ему сердце и легкие, и он лежал в тридцати шагах от места, где его настиг выстрел. Лесник опоясал его ружейным рем-

нем, и мальчики, довольные и веселые, без особого труда волокут по скользкому склону тяжелую тушу.

Лесника не особенно радуют трофеи. Кабана он должен отдать охотничьему обществу, двух лисиц едва хватит, чтобы покрыть убыток, причиненный выдрой, ведь полупудовый гусь в представлении его супруги теперь уже весит, наверно, все десять килограммов. Выдру же он упустил.

Следы, оставленные выдрой, невероятно велики. Лесник измерил их и рассчитал, что длина ее тела вместе с хвостом почти полтора метра. Выходит, напрасно уступил Миклош Петраш своему другу Янчи право первому обмерить выдру, — их опередили. Шкура, правда, еще принадлежит Лутре, а только обмер и не удовлетворил бы такого практического человека, как Янчи. Он признает лишь ту рыбу, что уже попала в сеть, и ту шкуру, которую держит в руках. Прочее для него одни пустые слова.

Впрочем, Янчи занят сейчас серьезным делом. А Миклош поглощен далеко идущими планами, которые помогает ему осуществить Матяш Гёнцёл, умелый тракторист, сидящий в данный момент за рулем своего трактора.

Он ехал с совсем не подходящими к зимнему пейзажу громом и вонью мимо занятых пилкой рыбаков к машинно-тракторной станции и весело помахал рыбакам своей замасленной выцветшей шапкой. Закончив пахоту, Матяш считал, что трактор заслужил отдых, и не подозревал, что его ждет еще одна работа.

— Стоп, — встал перед ним Янчи. — Тебя-то мы и ждем, Мати.

Почувствовав, что он влип, Матяш Гёнцёл положил промасленную руку на мокрую руку Янчи.

— Я тороплюсь.

— А ты не торопись, не то опрокину тебя вместе с машиной в реку.

Привыкший к тишине рыбак с неодобрением глядел на сердито пыхтящий и грохочущий трактор.

— Мати, нельзя ли ненадолго заткнуть пасть этой проклятой машине? А то я оглохну.

— Говори, я хорошо слышу. Было бы в тебе шестьдесят лошадиных сил, и ты б орал, а трактор теперь, можно сказать, молчит, ведь он идет налегке.

— Ну и уши у тебя, Мати. Я высоко ценю твою работу и особенно тебя самого.

— Брось ходить вокруг да около, Янчи, и скажи прямо, чего тебе надо. Когда слишком высоко тебя ценят, добра не жди.

— Этот небольшой пень надо поставить на прежнее место так, точно он и не падал. Что это стоит шести десяткам лошадиных сил?

Тракторист широко улыбнулся и высунул ногу из кабины.

— Поставить на место и больше ничего? Накиньте цепь на пень и дайте мне оба конца.

Возле трактора собрались и остальные рыбаки.

— Цепь оборвется, в нем не меньше двадцати центнеров, — сказал Анти Гергей.

Трактор развернулся, цепь набросили на упряжной крюк.

— Разойдись! — обернувшись, скомандовал Матяш.

Машина запыхтела, точно выстрелила два-три раза, и медленно, сонным жуком поползла от пня.

— Оборвется...

— Заткнись, Анти!

Цепь поднялась, натянулась словно струна, и огромный пень колыхнулся и медленно сдвинулся с места. Цепь скрипела, трактор сердито фыркал, и вот пень старого тополя вместе с корнями, грохоча, упал на свое прежнее место. Цепь провисла, а трактор с облегчением проговорил:

— Ух-ух-ух.

Довольные рыбаки с уважением поглядывали на машину, а также на Матяша, а он, смущенный общим вниманием, поглаживал рукой щиток над колесом.

— Это же шестьдесят лошадиных сил!

— Спасибо, Мати, большое спасибо, — сказал Миклош.

— Пень вновь укоренится и будет сдерживать берег от размыва.

— Это ей спасибо, — указал Матяш на машину, которая тут же запыхтела. Затем ухмыльнувшись, приподнял свою повидавшую виды шапку и с тарахтением уехал.

Рыбаки и Миклош смотрели ему вслед.

У егеря были большие планы, он задумал восстановить выдровую крепость. Выдры, быть может, сюда вернуться нескоро, но когда-нибудь они наведаются в свою старую, такую удобную нору и, если им не мешать, вновь поселятся в ней. Но тогда нора уже будет не только крепостью, но и западней. Егерь, конечно, не знал, что знаменитый Лутра щеголяет в шубе, обещанной Эсти, в добрых двадцати километрах отсюда. И не только целый и невредимый, но и сытый, готовый к новым приключениям, смотрит он из пещеры на подернутые сумерками окрестности.

Еще не стемнело, но Лутру подгоняют и тоска, и погода. Он словно чувствует готовящийся натиск ветра и тяжесть зловещих снежных туч, затянувших небо.

Выдра пускается в путь; тихо, грозно звенит лес, и она торопится, не оглядывается назад.

— Ступай! — подала Зима знак Ветру.

И ветер с воем обрушился на скопление туч.

Рев усиливался. Со свистом скача над бором, наездники разрывали тучи, из которых падали на землю снежные хлопья.

Зима радостно бушевала.

Снег падал густой и крупный, ему было тесно в воздухе, а тучи все набегали и набегали; подручные Ветра, еще не разметав одни тучи, принимались трепать другие. Снег все валил и валил; скалы еще оставались черными, но долина уже побелела.

— Стоп! — разбежался Ветер, и большое колесо старой мельницы остановилось, а потом закрутилось в обратную сторону.

Оно страдальчески скрипело, печная труба готова была

наклониться, из печи в комнату врывались пламя и дым, и между стеклами в закрытые окна забился снег. Мельник с тревогой наблюдал за бушевавшей метелью.

Вороны еще успели заблаговременно укрыться в деревне, спрятаться от ветра за постройками и теперь испуганно хлопали глазами, но вопреки обыкновению не ссорились: речь держала Зима, и ни у кого больше не было права голоса.

Ястребы, прижавшись к толстым стволам старых деревьев, и не помышляли об охоте. Синицы забились в дупла по шесть-восемь вместе и грелись, прижавшись друг к другу; фазаны укрылись под самыми густыми кустами; серые куропатки сидели погребенные под снегом, снег, когда он сухой, им не страшен, но под обледеневшей пленкой они погибают, задыхаются.

А вот мыши не боятся ни бурана, ни ветра. Входы в их норки засыпаны снегом, и ветер снаружи может бушевать сколько угодно. Не страшатся ветра и суслики, несмотря на его громкие завывания, суслики, наверно, и не просыпаются; хомяк, в крайнем случае, переворачивается с одного бока на другой.

— Тяжелая жизнь, — зевает он, — но как-нибудь перетерпим.

А вот белке не повезло: она отремонтировала заброшенный ястребиный дом, выстлала его мхом, а теперь гнездо покачивается, как лодка на причале. Нашей мохнатой приятельнице не грозит морская болезнь — опасаться этого не приходится, — но сук может сломаться, а гнездо упасть, и куда в таком случае деваться, когда все гостиницы закрыты? В чужую квартиру ни с того ни с сего не вломишься, вдруг там живет большая сова или, что еще хуже, лесная куница, и незваную гостью ждет не слишком любезный прием.

Бурану, разумеется, не добраться и до любезных наших знакомых, до супружеской пары Инь и Карака. В своем замке — благодаря инженерному искусству отшельника-барсука — они и не замечают непогоды. Инь, хорошенькая

молодица, сейчас обглаживает заячью ляжку, а Карак смотрит на жену с нескрываемым беспокойством, вернее, с завистью. Во всяком случае, в глазах у него написано:

— Инь, прибереги на черный день.

— Ты принесешь еще что-нибудь. Неужто, Карак, не принесешь?

— Конечно, — моргает лис, а про себя злится: «Где я, черт подери, снова найду какого-нибудь отпрыска Калана, словно для меня приготовленного, об этом моя легкомысленная супруга не думает».

Этот упрек Карак таит в душе, ведь не скажешь такое молодой жене через несколько дней после свадьбы? Поздней он еще не то будет ей говорить, но пока что нельзя.

Но зайца, хоть это почти невероятно, лис и вправду нашел.

Он шел, брел по околице и вдруг застыл на месте.

— Вот так раз, Калан.

Зяец лежал навзничь, в неестественной позе, поэтому не мешало обдумать ситуацию. Карак на короткое время присел, потом, словно судебный следователь, осмотрел место происшествия, обошел вокруг трупа, возле которого была разрыта земля. Но ни следов, ни запаха убийцы не осталось.

«Странно...»

Осторожно, очень осторожно он взял зайца за заднюю лапу, чтобы оттащить подальше, но тот был чем-то привязан к колу забора и не поддавался.

«Очень подозрительно!»

Отпустив с большой неохотой вышеупомянутую заднюю лапу, лис долго осматривался, но поскольку ничто не внушало опасений, схватил покойного зайца на этот раз уже за спину, но тут заскрипел кол, и Карак, испугавшись, бросил лопухого.

«Что же это такое?»

Не стоит объяснять нашему упрямому другу, что Калан попался в самый обыкновенный силоч, постыдное изобретение слабого человека, — все равно лис ничего не поймет.

А дело обстояло так: хозяин сада обнаружил, что к нему повадился ходить заяц. Разумеется, не ради мерзлых кочерыжек — Калан терпеть не может капусту, — а чтобы обгрызть горькую кору молодых деревцев, питательную и полезную для пищеварения. Вместо того чтобы обмотать стволы деревьев или сделать вокруг них ограждение, хозяин поставил силок из старой медной проволоки в том месте забора, где обычно пролезал Калан. А тот по неведению принял проволоку за безвредную лозу. Сначала он сунул в петлю голову, и ему сдавило шею. Тогда, объятый смертельным ужасом, подпрыгнул, и проволока стала душить его; несчастный заяц метался, но при каждом его движении петля затягивалась все туже, — пока окончательно не задохнулся.

Вот что произошло, но откуда знать это Караку?

В воздухе, впрочем, не чувствовалось ни малейшей опасности, шаткий кол уже не казался таким страшным — заяц уже основательно раскачал его, — и потому лис продолжал тянуть зайца, пока не выдернул кол из земли, а потом, схватив добычу, со всех ног понесся домой.

На шее у Калана до сих пор болтается петля, и когда Инь обглаживает заячью ляжку, петля в полумраке мотается из стороны в сторону. По норе распространяется соблазнительный запах зайчатины, и Карак, в других делах такой выдержанный и стойкий, не может больше противиться соблазну. Он ложится на брюхо возле своей новой супруги, забыв о том, что надо приберечь что-нибудь на черный день.

Буйства зимы здесь почти не слышно, потому что снег забил входы в нору, лишь доносится треск, когда буяны, подручные ветра, после долгих атак расправляются с каким-нибудь старым суком.

Молчат засыпанные снегом дупла, и только на берегу реки в дупле старой ивы тщетно ждет Лутру маленькая выдра. Она прождала уже всю ночь и весь день, под стон ветра, звучавший то грустным кларнетом, то хриплым контрабасом. В конце концов она повесила на крючок

нуаль своего сомнительного вдовства и занялась генеральной уборкой, а это лучшее лекарство от всех печалей.

Самочка принялась копать землю, расширяя свое жилище. Под трухой оказался толстый слой песка, и работа продвигалась быстро. Передние лапы разгребали песок, отбрасывая его задним, а те отправляли в нутро старой ивы. Снаружи шел шумный бой великанов, и потому выдра трудилась без предосторожностей. Правда, буря постепенно стихала и через несколько часов совсем прекратилась. К этому времени в стволе ивы скопилось уже высокая куча трухи и песка.

Новая удобная нора была уже не в дупле ивы, а в сухом песке. Самочка, усталая, но довольная и успокоенная, обнюхала новый дом, но даже не подумала сказать:

— Ах, Лутра, где ты?

Или:

— Посмей прийти сюда, подлый изменник!

Она чувствовала, что у нее будут дети, которых ей надо родить и так или иначе вырастить. И Лутра теперь был ей уже не нужен. Более молодые пары держатся, в основном, вместе, но старые самцы не переносят суеты семейной жизни и хныканья малышей.

Не будем поэтому говорить, что маленькая выдра, ощущая, что ей чего-то недостает, страдала от тоски.

И Лутра, признаемся честно, не бидя головой об стену, восклицая:

— Ох, какой я мерзавец! Зачем я бросил такую хорошую жену?

Он не видел перед собой подходящей для этого стены и дальше чем в двух шагах вообще ничего не видел: сквозь полуметровый снежный пласт пробирался он к цели, чувствуя, что она совсем близко.

Зима могла как угодно бесноваться, подручные ветра могли кувыркаться, орать, ломать деревья, носиться, словно одичавшее стадо, все это не отвлекло внимания Лутры, не пугало и даже не беспокоило его, — ведь, несмотря на вой, треск и звонкий свист, он слышал уже тихий, нежный

журчащий голос воды, прародительницы, кормилицы, дающей жизнь и убежище.

ВОДА!

В воздухе ощущался ее запах; к шуршащим снежным хлопьям примешивался тепловатый водяной пар, и когда Лутра вышел из леса в низину, глаза его заблестели: мертвенно-белую долину перерезала темно-зеленая петляющая горная река.

Он подполз к ней, понюхав, выпил глоток и почувствовал: его уже никуда не тянет, ничто не побуждает в дорогу, как побуждало последние два дня, на карте его стремлений исчезла та точка.

Лутра добрался до дома.

Вода эта чище, быстрее и звучней, холодней и темней, однако прозрачней, чем в равнинной реке. Лутра уверенно погружается в нее.

Ну и ну! Тут надо быть осторожным: течение сильное и дно страшно неровное. На каждом шагу камни, ямы, глубокие омуты, но для такого искусного пловца, как Лутра, это не помехи. Очень быстро, но успевая ориентироваться, оглядывать и берега, он плывет вниз по реке, торопится туда, где громче бурлила вода: там она наверное теплей и есть что-нибудь съедобное. Во время странствий можно кормиться, на худой конец, и летучими мышами, но главная и излюбленная пища выдры — все-таки рыба.

Вода пенилась и стремительно неслась — здесь она всегда пенится и стремительно несется, — но ярость бури уже не чувствовалась так, как в горах; ветер натыкался на бесконечные изгибы реки, разбросанные тут и там скалы, поворачивал и несся дальше.

Реке, впрочем, были нипочем ни зима, ни ветер. Она брала начало где-то далеко в горах, в глубине таинственной пещеры. Летом вода была лишь ненамного теплей, чем зимой, и, освободившись от горной неволи, мчалась вниз так весело и проворно, что только костлявые руки самой суровой зимы могли сковать ее льдом.

Эта река всегда была быстрой, пенистой и холодной.

В ней не водились славные дети больших озер и неторопливых рек: карп, сом, лещ, щука, судак. Здесь им пришлось бы тратить силы на то, чтобы их, словно древесные листья, не унесло течением, и они не могли бы ни кормиться, ни размножаться.

Как не вспомнить поговорку: «Всяк сверчок знай свой шесток». Это закон приспособления, который в течение миллионов лет создавал организм животных так, чтобы он наилучшим образом отвечал требованиям окружающей среды. Антилопы в пустыне не пьют воды, или пьют очень редко, можжевельник стелится по камню, чтобы его не сломали ветер и снег, сова видит даже ночью, а слепыш не видит и днем, короче говоря, даже отдельные органы животных приспособляются к тому или иному образу жизни, подчиняясь требованиям окружающей среды.

Как жили бы в быстрой горной реке неповоротливый карп, плоский лещ, ленивый сом и чуть ли не круглый карась? Это все равно что заставить грузного короткокрылого фазана кружить над горными вершинами, ведь он не раз подумает, прежде чем взлететь, и, пролетев несколько сот метров, с удовольствием плюхается на безветренную солнечную поляну.

Какая же в таком случае рыба водится и размножается в горной реке?

Форель. Быстрая форель.

В холодной, пенистой, бурливой реке отлично живет форель. Она чувствует себя как дома в ледяных водоворотах. Ее не увлекает за собой течение, она не замерзает, без особого труда добывает себе пищу, выпрыгивая из воды чуть ли не на двухметровую высоту, чтобы поймать летящих насекомых. Что говорить о каких-то двух метрах, когда во время миграции она перескакивает через пятишестиметровую водяную завесу плотин.

Да, этой красивой мускулистой рыбе с красными и черными крапинками хорошо живет в горной реке, а в теплой затхлой воде, где благоденствуют карпы, лещи и караси, она погибла бы так же, как привыкшая к жгучему чис-

тому горному воздуху серна погибла бы в вонючей ко-
нюшне.

Водится здесь, конечно, и хариус, и несколько видов
мелких рыбешек, но их едва ли стоит принимать во внима-
ние, поскольку Лутру они не особенно интересуют. Он ни-
когда не ел форели, но если попробует — а почему бы ему
не попробовать? — то забудет о лещах, лягушках и пер-
натых, как любитель вина — о теплом апельсиновом соке.

Теперь уже Лутру не тревожит буран, он осторожно
плывет к шумящему впереди водопаду. Не торопится —
места все-таки незнакомые, — но знает, что там река
глубже и должна быть рыба. Горная река в этом месте
низвергалась с большой высоты, и вода прорыла огромную
яму. На середине ее бушует поток, а по краям среди камней
тихо, и Лутра, как тень, опускается в глубину.

В сине-зеленой воде довольно темно, и глаза выдры
широко раскрываются. За одним из камней колышется
рыба с красными крапинками, поплавки у нее едва ше-
велятся. Лутра подплывает к ней сбоку, ныряет, прячась за
камень, и наконец подойдя совсем близко, точно запущен-
ная ракета, кидается на нее снизу.

Полусонная рыба, как видно, вовремя его не заметила,
в последнюю минуту, однако, надеясь спастись, так дерну-
лась, что ей почти удалось выскользнуть из пасти Лутры,
хотя еще никто таким образом от него не сбежал. Он выполз
на плоский камень и поел как нельзя лучше. Мясо форели
было мягкое, нежное, без костей и такое же чистое, свежее,
как вода, в которой она родилась и питалась. Рыба весила
больше килограмма, однако от нее почти ничего не оста-
лось. Сытый по горло, Лутра обнюхал даже обьедки и
только тогда заметил, что ветер готов смести его с камня.
Позади остался длинный путь, и теперь он уже мечтал об
отдыхе, стало быть, полночь миновала.

Надо было подумать об убежище.

До сих пор его томила тоска по старой норе, и желание
отдохнуть гнало — неизвестно почему — вверх по реке,
хотя плыть вниз по течению куда легче. Река извивалась

среди скал, кое-где низвергалась с каменных стен, образуя пороги, глубину которых Лутра сейчас не измерял. Он чувствовал себя как путник, застигнутый в пути метелью, которого сытно накормили в одной из деревень. И думал только о тихом пристанище, где можно преклонить голову.

Он осматривал берега, прибрежные пороги, подмытые корни ольхи. И нашел несколько мест, где можно было кое-как приютиться, но довольно сырых; бурная река разбивалась о скалы, и водяные брызги заполняли эти просторные впадины.

Часто останавливаясь, Лутра плыл то под водой, то вынырнув на поверхность, и прислушивался к голосу реки.

По-прежнему бушевал буран, ветер будоражил воду, но вдруг уши Лутры уловили и какой-то другой, тихий звук.

— Гу-лук, гу-лук, — доносилось издалека, и он тотчас направился туда.

В снежном вихре едва виднелись склонившаяся над стремниной высокая скала и бурный глубокий поток под нею. Место казалось неподходящим для рыбной ловли: вода не завихрялась, лишь неслась с такой скоростью, что Лутра, пока осматривался, с трудом противостоял ее течению.

— Но что это за звуки?

Скалы были темны и немы, каменное русло отполировано до полной глади, и все же снова откуда-то послышалось:

— Гу-лук, гу-лук.

И тут Лутра увидел за небольшим выступом узкую расщелину, в которую вода попадала, лишь когда сильный ветер заносил туда удивленные этим волны.

Чтобы его не унесло течением, Лутре пришлось ухватиться за край камня, потом он вскарабкался наверх и втиснулся в узкую щель. Там он наконец отдышался и стал принимать и прислушиваться. Тонкая сеть его чувств, улавливавшая, что происходило снаружи, напряглась до предела, но ничего опасного не уловила. Ни отраженный звук голоса быстрой реки, ни пустой воздух ни о чем не

говорили, и эта их немота указывала на то, что путь открыт.

Лутра двинулся дальше; вскоре ему пришлось свернуть, потом куда-то вскарабкаться, и наконец после гнетущей близости камня он вдруг почувствовал легкость и надежность воздушного простора. Внешний мир исчез, и покати летний ливень вниз по реке большие камни, Лутру бы и это ничуть не встревожило.

Пещера, в которой он оказался, была чудесной. Дно ее покрывал слой твердого, утрамбованного тысячелетиями серого песка, стены были сухие, и только свод потемнел от изредка оседавшего на нем водяного пара.

Выдра обошла пещеру, в которой поместилась бы целая медвежья семья, продуманно выбрала угол и слегка расслабилась: теперь уже можно было отбросить всякую осторожность, и даже последняя искорка новизны, непривычности погасла в тени вековых скал. Повернув голову ко входу, Лутра со вздохом закрыл глаза.

Когда рассвет вступил в бой с полчищем туч, Зима подняла руку, и Ветер испуганно оцепенел.

Дали облегченно вздохнули, деревья выпрямились, равнинная река успокоилась. Воробьи и овсянки покинули стог соломы, куда они забивались по вечерам, — ведь он еще хранил летнее тепло.

Люди разгребали дорожки к конюшням и свинарникам. На огородах сидели притихшие от голода вороны, — опустившись на землю, они бы потонули в снегу.

Стояла тишина, тяжелая, гнетущая.

Собаки не лаяли, куры не выходили из птичников, зайцы не шевелились на своем лежбище, вороны, нахохлившись, молча терпели голод, — ведь в лесу и в поле все голодали, кроме зверей, погрузившихся в зимнюю спячку, но и те спали тревожным сном: какое-то напряжение чувствовалось вокруг, и рука ужаса сжимала им сердце.

Карак и его дорогая супруга, в необыкновенном согласии отправившиеся сейчас в камыши, и на этот раз, конечно,

составляли исключение: вчера они не поддались общему страху, а угнетавшее всю природу напряжение разрядили в громком скандале. Прошлой ночью, как нам известно, охотиться было совершенно невозможно. Но оба они выползли из норы. Карак, сев на опушке леса, безнадежно уставился в темноту. Инь, правда, дошла до камышовых зарослей, но вернулась оттуда, полагаясь на изобретательность мужа, но тот понадеялся на ловкость супруги, и потому Инь нашла его дремлющим в спальне их замка.

Глаза новобрачной метнули огонь, которым вполне можно было бы раскурить трубку.

— Ты спишь тут?

— А где же мне спать? — сощурился Карак. — Может, на снегу?

— Я, по крайней мере, прошла, сколько смогла. А ты, верно, дожидаясь, пока я принесу тебе поесть. Щелкай зубами. Даже блохи на тебе сдохнут от голода!

— Инь, давай не ссориться. Ты выходила из норы, и я тоже. Нельзя охотиться. — И он заискивающе приблизился к жене, но та налетела на него злым драконом.

Карак едва успел отскочить в сторону.

— Смотри у меня! — оскалила зубы Инь.

Загнанный в угол лис почувствовал, что сейчас решается его дальнейшая участь. Он окинул внимательным взглядом все убранство замка, состоявшее из Инь и объедков найденного зайца.

Если бы он сразу перешел в наступление, ему бы пришлось нелегко. Пока что трудно решить, кто хозяин в норе. Поэтому он, благодушно расслабившись, придвинул к себе заячью голову.

— Я проголодался, — говорил его жест, и тут Инь, окончательно взбесившись, набросилась на остатки зайчатины, Карак же только этого и ждал.

Когда она ринулась к заячьей голове, на которой не осталось ничего, кроме двух торчащих ушей, лис схватил ее за загривок и хорошенько отлунил. Молодица, правда,

была сильной и закаленной, но он — чемпионом-тяжеловесом.

— Отпусти! — прохрипела вне себя от ярости Инь, однако муж не отступал.

— Отпусти! — чуть погодя повторила она, но Карак инстинктивно чувствовал: теперь или никогда. . .

— Я уйду, — желая спастись от побоев выла новобрачная, — уйду, только не убивай меня!

Но Карак продолжал ее поучать, а потом одним решительным жестом вытолкнул в ревущую бурю. И преспокойно занялся заячьей головой.

Трудно сказать, что делала Инь под открытым небом, но факт остается фактом: через некоторое время — было уже за полночь — лис услышал у входа в нору какой-то шум, а потом показался нос Инь и два ее молящих хитрых глаза.

— Карак, можно войти?

Лис лениво поднял веки, словно только что проснулся.

— Ах, это ты, Инь! Где ты бродила?

Вся в снегу, измученная, присмирившая, жалко моргая, присела она в самом дальнем углу.

— Я только поглядела, что творится вокруг.

— Напрасно, Инь. Ты знаешь, и я знаю, в такую метель нельзя выходить. Если не ошибаюсь, — зевнул он, — я уже говорил тебе это, но ты, видно, запамятовала.

Инь повесила голову, как бы говоря:

— Нет, не запамятовала.

Потом Карак, подойдя к своей бесспорно хорошенькой жене, слизал окровавленный снег с ее головы, а Инь, очень голодную, это обрадовало больше, чем молодая косуля, которую супруг принес бы в нору.

Трудно сладить с такой своенравной дамой, и Карак, должно быть, поступил правильно: боль от побоев пройдет, но сознание того, что с мужем шутки плохи и что раз он сумел проучить ее, то, защищая жену и будущих детенышей, проучит и всех прочих, останется навсегда.

Минул день, и пришла ночь, но минула и ночь, пока наконец рассеялись тучи и устали подручные Ветра. Если бы глубокий снег не засыпал все вокруг, видно было бы, как обломаны ветки деревьев в лесу, потрепан камыш, взъерошены соломенные крыши и съехала набок верхушка скирды; но снег все сровнял и скрыл произведенные разрушения.

На своем золотисто-красном ложе проснулось бодрое солнце, и когда, прищурившись, оно оглядело побелевшие поля, все заискрилось, засверкало, так что даже старые вороны зажмурились, хотя глаза их не боятся ни тени, ни света.

Воздух был чистый и звонкий; легкий дымок из деревенских труб весело поднимался прямо в небо, двери громко стучали, окна купались в солнечном свете, и сороки, летая от дома к дому, пророчили гостя тем, кто верит в эту примету.

Природа облегченно вздохнула; раздвинулись дали, и небо, еще вчера низко нависшее, стало голубым и высоким.

Оживились поля, леса, оживилась и деревня.

На прибрежном репейнике делают зарядку щеглы, и снег вокруг — словно пол в железнодорожном вагоне, где неаккуратные пассажиры щелкают семечки.

Но не будем порицать за это щеглов; эти красноголовые птички в черно-желтых пальтишках — краса заснеженных полей и отличные истребители сорных трав. Съеденное ими семечко уже никогда не даст ростков, а ведь семена многих ненужных растений, упавшие на землю, прорастают, выдержав даже тридцатиградусный мороз.

Щеглы, разумеется, не знают, что они полезные птицы, так же, как воробьи, что они бесполезные. Воробьи хотят жить и живут. Одни клюют насыпанное курам охвостье, другие прыгают по краю свиного корыта, не обращая внимания на огромную толстую свинью Чав. Она, бедняга, два дня почти ничего не ела — метель испортила ей настроение и аппетит, — но сегодня жрет без конца сечку, обрызгивая корыто, пол, ограду, себя и даже воробьев. Маленькие

серые птички вообще-то не боятся свиньи, но угоди одна из них в сечку, Чав бы и ее проглотила.

— Ах! Что за лакомый кусочек мне попался? — удивилась бы она, перестав на минуту жевать.

Однако воробьи, представители большого рода Чури, и не собираются падать в сечку, а если свинья уж очень брызгается, они просто нахально опускаются ей на спину, где сидеть очень удобно и от живого сала приятно веет теплом.

Чав, у которой слой сала в ладонь толщиной, даже не чувствует, что на спине у нее расположились птички.

Есть хотя не только воробьи, но и перепелятник Нер. Он уже приближается, как серый рок; летит над домами, пока перепуганная насмерть воробьиная стая не вспорхнет вверх, вместо того чтобы забраться в кусты. Намеченная жертва обычно не успевает и пискнуть, как перепелятник, схватив ее, уже направляется к какому-нибудь отдаленному снежному сугробу.

После двухдневного поста спешит на охоту зимняк. По мнению орнитологов, хищные птицы хорошо переносят голод, но заинтересованная сторона относительно этого еще не высказывалась. В случае необходимости они, разумеется, какое-то время живут без еды, но человек может дольше их воздерживаться от пищи, однако никто не утверждает, что он хорошо переносит голод.

Вот уже несколько дней, как исчезли обыкновенные сарычи; их тайная антенна, покачнувшись, передала срочное сообщение: надо немедленно отбыть в тот край, где вместо ледяных цветов растет лимонное дерево. И здесь остались только зимняки, которые, сидя на заброшенных стогах, подстерегают удачу. А «удача» шевелится под ними в стогу, попискивает, грызет что-то, даже вступает в драку. Во время баталий иногда все ополчаются на какого-нибудь буяна, который в конце концов падает в снег. Он уже никогда не вернется к своей родне, — ведь поблизости сидит зимняк. Но удача — дело редкое, поэтому зимняки летают над заснеженными полями, где сейчас стая серых куропа-

ток с невероятной быстротой мчится к зарослям камыша, а следом за ними ястреб Килли, которому белка откусила один палец. Еще секунда, другая, и куропатки спрятались бы в густом раkitнике, но этих двух секунд им и не хватило.

Килли загнал в снег и тут же схватил летевшую в конце стаи птицу, а потом, расположившись на кочке, отлично позавтракал. Глаза его при этом сверкали страшной яростью, словно не он закусывал, а его самого собирались съесть.

Река, успокоившись, растянулась на равнине; правда, она не любит, когда по ее поверхности плавают тонкие пластиночки льда, лоскутки ее обмороженной кожи. Она и не возражает, если весла разбивают тонкую ледяную пленку, — ведь оледенение — заразная болезнь, а река не любит смотреть на мир через мутное, холодное стекло.

Но вернемся к Лутре. Прошлой ночью он наметил границы своих охотничьих угодий, ознакомился с местностью, правым и левым берегами вниз и вверх по реке. Погода сначала была отвратительная, но после полуночи ветер выдохся; чувствовалось, что тучи редуют и утром небо расчистится.

Лутра отправился на осмотр довольно поздно и хотел совместить его с охотой, — ведь он очень проголодался. Но раньше в воде и в воздухе бушевала такая буря, что охота была очень затруднительна.

Ветер валил в реку груды снега и гнал сломанные ветки вниз по течению; надо было подождать, пока стихнет метель, за которой, где-то вдали, шла тишина.

Лутра неслышно спустился в воду и отдался во власть течения, которое вынесло его из-под скалы; потом развернулся и, ловким движением выбравшись из стремнины, остановился под одним из порогов.

Там ничего не было: яма оказалась пустой. В следующей, правда, что-то мелькнуло, но пришлось посторониться: ветер швырнул в выдру крутящийся сломанный сук, и

сколько потом она ни всматривалась, ничего не увидела.

Долго плыл Лутра вверх по реке, пока не добрался до многообещающего порога, но, заметив колышущуюся тень, не устремился сразу в более спокойную воду, а решил сначала изучить обстановку. Потом, вобрав в легкие побольше воздуха, стал очень медленно продвигаться вперед. За большим камнем лениво, точно в полусне, плавало шесть-восемь маленьких форелей, и Лутра недолго радумывал. Поймав одну, он вылез на камень и опять почувствовал во рту бесподобный вкус этой прекрасной рыбы. Едва покончив с ней, он снова сполз в воду.

«В чем дело?» — бесился он, оплывая вокруг глубокой ямы, где уже не было форелей, хотя вода предательски доносила их запах. И лишь делая третий круг, заметил, что эти удивительные рыбы скрылись среди больших камней, громоздившихся друг на друге, потому что настолько они не были сонными, чтобы не понять, какая участь постигла их подругу. Лутре трижды пришлось, высунув голову, набирать в легкие воздух, пока наконец он сдвинул с места один из камней и поймал следующую форель.

Ею он заморил червячка и теперь, плывя вверх по течению, уже спокойно осматривал излучины, выбирал на берегу места, где можно укрыться, спастись бегством; все это он делал совершенно бессознательно. Но убежища на размытых берегах, каменистые протоки, упавшие в воду деревья запечатлевались в его памяти, и в случае нужды он уже знал бы, где и как он может спасти свою шкуру, на которую зарилось столько людей.

А когда река сильно сузилась, он повернул обратно. Ветер лишь время от времени налетал на стоящие в долине высокие сосны, и темное небо посветлело.

Прибрежный лес перестал петь жалобную песню, полную боли и страха, но еще тяжело вздыхал, как человек после приступа болезни, вялый, но обретающий надежду.

Лутра оставил уже далеко позади свою новую нору и спускался все ниже в долину, как вдруг путь ему преградила плотина со шлюзами, где ощущался застарелый, но

подозрительный запах человека. Взобравшись на плотину, он сразу приник к камням. Река здесь разделялась на два рукава. Правый рукав продолжал течь в прежнем направлении, а левый, свернув, постепенно потерялся в цепи озер.

А за озерами на берегу стоял дом. Это был красивый горный домик в два этажа, с выступающей вперед галереей. Однако Лутру эти подробности не интересовали. Раз был дом, были и люди, которые всегда представляют некую опасность. Возле дома виднелись постройки поменьше, но сейчас, на исходе ночи, они спали укрытые снегом. Лутру потянуло к небольшим озерам. Он с трудом полз по глубокому снегу, но когда добрался до первого из них и, пригнувшись, соскользнул в воду, то почувствовал себя как ребенок, попавший в кладовую, где шкафы полны пирожных, разных колбас, жареной дичи и фруктов. Мальчик стоит там, раскрыв от изумления рот, и думает, что все это ему лишь снится. Но, как бы то ни было, он берет утиную ножку, индюшачью грудку, потом...

То же самое происходило с Лутрой, но только он не думал ни о каких снах, поскольку его занимала лишь действительность, познаваемая с помощью лап и пасти.

Озерко было полно форели. Форели, которая, по мнению выдры, удачно сочетала в себе запах и вкус всех видов пищи и которой, сколько ни ешь, никак не насытишься.

У Лутры от охотничьего азарта засверкали глаза, и он учинил кровавую оргию, убивая рыбу, предназначенную для разведения. Забыв о всякой осторожности, он гнался за добычей так, что иногда громко плескалась вода, как вдруг возле дома залаяла собака:

— Гав-гав! В озере беда, в озере беда!

Лутра опомнился и, пресыщенный, посмотрел на рыбу под своей лапой. Это была уже восьмая. Первую он съел почти целиком, и от второй мало что осталось, к третьей едва притронулся, а четвертую даже не вытащил из воды. Потом он прикончил еще несколько форелей и с последней выполз на берег, ведь она так упорно сопротивлялась, что с ней стоило поиграть. О том, что это не имело ничего об-

щего с игрой, лучше всего могли бы рассказать сами форели, но рыбы не отличаются словоохотливостью.

Хотя собачий лай не предвещал ничего хорошего, Лутру он вначале не испугал, но потом зазвенело одно из окон на верхнем этаже.

— Кто это, Рыжуха? Ату его!

— Ва-ва-хур-р-р! Разве мне поймать ее в глубоком снегу? Х-р-р, тут она, тут, чую запах!

Теперь открылось окно и на нижнем этаже.

— Ферко, в чем дело?

— Судя по лаю, Рыжуха кого-то учуяла, но по этому снегу не может добраться до озер.

— Выстрели, по крайней мере спугнем.

Держа в пасти форель, Лутра тихонько пробирался назад по своему следу, как вдруг из верхнего окна грянули два выстрела. Он тут же бросился в воду, а собака в ярости забегала по веранде. Несколько раз она прыгала в снег, но, утонув в нем, фыркая, с трудом выбиралась вновь на крыльцо.

Нижнее окно затворилось, из верхнего тоже не доносилось ни звука, собака успокоилась, лишь изредка испуская в темноту свирепый рык. Когда же захлопнулось и верхнее окно, Лутра был уже далеко.

Он выполз на камень и принялся опять за еду, но время от времени прислушивался к голосу леса и реки. Лес раскинулся, как боксер в раздевалке, сильно побитый, но окончивший поединок с ничейным счетом; а река, плескаясь, лепетала пустое. Волны своими мягкими кулачками били камни, как они делали это уже миллионы лет.

Сытый Лутра сидел на камне, и его ничуть не интересовало, откуда и куда бежит вода. Была бы вода, была бы в ней рыба; охотничьей страсти он, может быть, еще и поддался бы, но искать себе пищу ему сейчас ни к чему. Вдруг перед его мысленным взором возникла нора, ведущий туда путь, и Лутра не задумывается больше. Он сползает с камня и через несколько минут лениво опускается на сухой песок своей норы.

Он видит еще, что вода быстро светлеет, потому что в огромной колыбели долины мерцающий зимний рассвет открывает глаза, и тогда он закрывает свои.

Стоя в бухточке горной реки, возле цепи маленьких озерц, двое мужчин смотрят на берег, на воду, друг на друга и на объедки форели, кровавые следы пиршества выдры.

— Скоро мне стукнет семьдесят, а таких огромных следов выдры сроду не видывал. Откуда она могла взяться?

— Только из ада, расшиби ее молния! Погибли восемь прекрасных форелей-самок, — возмущается молодой, которого зовут Ференц Бака.

— Коли она опять сюда забредет, ничего не оставит, погубит всю рыбу до последней. И тогда уже напрасно отовсюду будут нас просить, чтобы мы прислали мальков. Да еще призовут к ответу: что мы делали с рыбой и зачем взялись за дело, если ничего в нем не смыслим, почему плохо охранял и форель.

— Хотел бы я такого любителя задавать вопросы посадить на ночь выслеживать выдру.

— Не болтай попусту, Ферко... Один ум хорошо, а два лучше. Собери-ка объедки, и давай придумаем вместе что-нибудь толковое.

И они пошли в дом, по виду которого нельзя было подумать, что в нем разместилась небольшая биологическая станция. Здесь разводили форель и мальков ее пускали в большую реку, которой нет конца-краю, имя которой — жизнь.

Ферко положил остатки рыбы на обитый жостью стол, стоявший в галерее возле двери, и проворчал себе под нос что-то по поводу Лутры и грома с молниями; но пожелание его не могло исполниться, так как молнии зимой сверкают в других краях. Затем оба мужчины вошли в этот дом, который удачно сочетал в себе свойства и запахи музея, биостанции, природоведческого кабинета, зоомагазина, конторы, склада и наконец человеческого жилья.

— Сядь, Ферко.

Ферко посмотрел по сторонам, решая, куда бы присесть: на связку рыболовных крючков, небольшое стеклянное блюдо, чучело сойки или кучку улитковых раковин, — ведь на всех стульях что-нибудь да лежало, как вдруг из угла донесся каркающий голос:

— Я Михай Ужарди, крак-вак.

— Попридержи язык, Мишка, — обернувшись сказал Ферко. — Мне нужно серьезно поговорить с твоим приемным отцом. Если не замолчишь, отдадим тебя выдре.

Тут из темного угла не спеша вышел красивый большой ворон. Он вспрыгнул на колени старого ихтиолога, Петера Ужарди, и принялся стучать клювом о кольцо на его пальце.

— Пойду, отдам рыбу Рыжухе, — пригрозил Ферко, направляясь к двери.

— Рыжуха, Рыжуха, крак-вак, — прокаркал ворон и, слетев на пол, заковылял следом за Ферко.

За дверью завизжала собака, точно говоря:

— Я здесь, здесь. Выпустите моего приятеля!

Наконец поднялся с места и старик Ужарди. Его поразила дружба этих двух умнейших существ. Рыжуха и Мишка выросли вместе, вместе ели, играли, гуляли возле дома, долгое время даже спали вместе, иногда ссорились между собой. Во время недавней метели Мишка укрывался в доме, а Рыжуха пряталась в теплой конуре.

Поэтому утром при встрече их радости не было предела; собака выразила ее в монологе и танце.

Сейчас тоже она, тьявая, вытанцовывала вокруг ворона, который на своем языке благодарил ее за театрализованное приветствие.

— Кра-кро-кро, — говорил Мишка, что, должно быть, означало: — Спасибо, я спал хорошо, а как у тебя дела?

— Гав-гав-гав-гав! — докладывала Рыжуха своему крылатому другу. — Прекрасные запахи в воздухе. Ты, конечно, ничего не чувствуешь, нос твой никуда не годится. А я говорю тебе, Мишка, прекрасные запахи, — и, выражая свою любовь, она положила лапу на шею ворона.

— Кра, — запротестовал Мишка, — убери лапу, Рыжуха. Ты разлохматила мне перья. Сама знаешь, я этого не люблю. Убери лапу, не то клюну тебя в нос.

— Ну, Ферко, попробуй сказать, что они не умеют разговаривать! — воскликнул Ужарди. — В голосе ворона сейчас звучало неподдельное раздражение, он не любит, когда треплют его перья. Разве я не говорил тебе?

— Вау-вау! — негодовала собака, которую ворон клюнул в нос. — Ой-ой-ой! — подбежав к Ферко, она потерлась мордой об его сапог. — Видел? А куски побольше мне достанутся?

— Очень сожалею, Рыжуха, но сначала получит Мишка, он вроде бы сержант.

— Сер-р-ржант, — подтвердил Мишка, и собака, услышав, как ворон говорит человеческим голосом, с почтением и некоторым страхом посмотрела на своего черного приятеля.

— Ну, ты же слышала! — Ферко делил куски форели. — Без знакомств ничего не добьешься. Я уже четыре года служу тут и до сих пор всего лишь рядовой. Иди, дорогой сержант!

Размахивая крыльями, Мишка побежал к маленькой кормушке, стоявшей в трех шагах от миски Рыжухи.

— Ох, как много он получил, — засопела собака, но, поскольку она еще не дослужилась до сержанта и подчинялась строгой дисциплине, установленной Ферко, не трогалась с места.

Им не разрешалось подходить к чужой кормушке и миске, даже когда они были пусты.

— Теперь, Рыжуха, твоя очередь.

Собака побежала вприпрыжку за Ферко, а ворон тут же перестал есть.

— Я Михай Ужарди, — сказал он, и глаза его засверкали далеко не дружелюбно.

— Глаза у тебя завидующие. И не смей отходить от своей кормушки, — сделал ему выговор Ферко.

Однако Мишка, бросив свой завтрак, на два шажка приблизился к Рыжухе.

— Хар-кур-р-р-хар-р-ар, — проворчала та с набитым ртом. — Не подходи ко мне, Мишка, не подходи, не то оттреплю тебя! Друзья — до первой кости, тебе бы пора знать.

Глаза у собаки сердито поблескивали, а в голосе звучала угроза.

Мишка почесал клюв о пол.

— Ты готова тут же лезть в бутылку, — поглядел он на Рыжуху, а потом, подойдя к кормушке, принялся рвать рыбу на части.

— Теперь уж они не поспорятся. Давай, Ферко, поговорим о деле.

— Я вот что думаю, — Ферко присел на стул между клеткой и стеклянным блюдом. — Сперва я расчищу вокруг озер дорожку.

— Хорошо. Через свежеперелопаченный снег выдра день-два, возможно, не осмелится пробираться. Ну, а потом?

— Огорожу дорожку метровыми кольями, натяну на них в два ряда проволоку и развешу лоскутья, чтобы отпугивать зверя.

— Хорошо. Тут у нас много использованной ленты от пишущей машинки. А еще что?

— Оставлю три прохода и в них поставлю капканы.

— Очень хорошо.

— И сам буду сидеть в засаде.

— Работать с тобой, Ферко, одно удовольствие, но учти, морозы сильные.

— Посижу, сколько выдержу. Замерзну, заверну в инкубаторий, там погреюсь.

Чистая, прозрачная вода ручья неслась так быстро, словно хотела согреться. Белая стена галереи отражала брызги воды, разлетающиеся на крыльях света. Кое-где с деревьев осыпался снег.

Ферко надел темные очки, и тогда Мишка настороженно уставился на блестящие стекла, а Рыжуха залаяла:

— Гав-гу! Не люблю я эти, как их... Хочу видеть твои глаза.

— Замолчи! Пошли, лодыри.

Услышав хорошо знакомый голос, собака успокоилась и, оглядываясь на ворона, тотчас пристроилась к хозяину.

— Пойдем, Мишка. Садись мне на плечо.

— Может, погода и пойдут, — чистил перья ворон и, не моргая, смотрел в ослепительно голубую высь, на безоблачные дали.

Возможно, он видел что-то, недоступное человеческому глазу. И, прислушиваясь, слышал что-то, недоступное человеческому уху. Но, может быть, просто не хотелось ему выходить из тепла.

Вокруг дома все стихло. В кухне время от времени с шипеньем рассыпались в печи тлеющие угли, и можно было подумать, будто кто-то проводит щеткой по наружной стене дома.

Но поблизости никого не было, и небольшое строение за домом, инкубаторий, где сотни тысяч бессознательных маленьких жизней ожидали прихода весны, казалось пустым.

На биостанции во имя интересов человека наука боролась с невежеством и природой. Это была трудная борьба: на одной стороне весь арсенал природы и воинственные, готовые на все рыболовы-браконьеры, на другой — несколько немногословных, сдержанных старых ученых.

— Что вы хотите? — спросила природа.

— Учиться у тебя, — смиренно ответили ученые.

— Учитесь, пожалуйста, — и она улыбнулась.

К этим старым ученым присоединились и молодые.

Они занимались исследованиями, думали.

Им хотелось, чтобы была рыба, много рыбы.

Они знали, как она размножается, но в быстрых, естественных водах, полных врагов, из сотни тысяч икринок получается всего две рыбки. Остальные уносит куда-то

течение, засасывает ил, поедают водяные насекомые, лягушки, птицы, землеройки и прежде всего некоторые рыбы.

— Вот ключ ко всему, — сказали неугомонные ученые, — надо выловить оплодотворенную икру и сохранять ее, пока не выведутся маленькие рыбки. А они уже смогут сами о себе позаботиться.

Но как это сделать? Как собрать в глубокой воде или в густой тине икринки, прилепившиеся к камешкам и растениям? Да это просто невозможно!

— Тогда надо начинать с другого, — продолжали они рассуждать. — Взять саму рыбу, пока у нее есть икра и молоки.

Они встали на правильный путь, решив делать то, что делает природа, но в закрытом помещении, на рыбноводческом заводе, где нет ни наводнений, ни пожирающих икру насекомых, лягушек, землероек, птиц и рыб. Они устранили даже родителей, которые, проголодавшись, поедают свою икру.

Что же такое икра и молоки и как их извлечь?

Икра — это шарик величиной от булавочной головки до горошины, в зависимости от вида рыбы; в нем женская яйцеклетка. Всего лишь одна. А молока — густая белая жидкость, в одной капле которой миллиард мужских половых клеток, и одна из них оплодотворяет икринку. После этого в оболочке икринки развивается живой эмбрион, который питается находящимся внутри питательным веществом, как цыпленок — желтком.

Через определенное время эмбриону становится тесно, вода уже успевает согреться, икра вырабатывает вещества, разъедающие оболочку, и из нее выходит малек. Это пока еще не рыба. У него нет ротового отверстия и кишок; вместо них на животе — тяжелый мешочек с питанием, пирожок для ребенка, пустившегося в трудный путь.

Не умеющий плавать, беспомощный малек пристраивается где-нибудь, прилепившись к растению, и ждет, когда ему улыбнется счастье, верней, когда он превратится в рыбу. Но головастики и другие враги губят беспомощ-

ных будущих рыбок, и поэтому из десяти тысяч мальков, быть может, выживает лишь один. Рыба водится в земных водах лишь благодаря почти безграничной щедрости природы. Дело в том, что самка карпа в среднем мечет около полутора миллионов икринок, сколько-нибудь от этого гигантского количества всегда уцелевает. А рыбы тех видов, которые мечут сравнительно мало икры, заботливо ее охраняют.

Уцелевшие мальки прекрасно растут. По мере того как в мешочке на животе убывает питание, желток, формируется их организм и постепенно они становятся похожи на рыбу. Раскрывается рот, развивается кишечник. После того как желток совершенно рассасывается, мальки выбираются на поверхность воды и, сделав глубокий вдох, наполняют воздухом плавательный пузырь.

Для рыбы это такой же важный момент, как первый шаг для младенца. Малек превращается в настоящую рыбу, хотя и с булавочную головку. А «на ноги» ее ставит наполненный воздухом плавательный пузырь, он облегчает тяжеловатое тело, удельный вес которого приближается к удельному весу воды. Теперь крошечная рыбка уже может спастись бегством от своих врагов, скрываться, и есть надежда, что, избежав множества опасностей, она станет десятикилограммовым судаком, двадцатикилограммовой щукой или двухсоткилограммовым сомом.

А что происходит на рыбоводческом заводе?

То же самое, но там нет врагов, и из десяти тысяч икринок сохраняется примерно половина, пять тысяч рыбешек, весом от десяти до ста граммов, отправляются в жизненный путь, когда ученые, эти «рыбы пастухи», выпускают на пастбище своих овец.

Но предварительно надо поймать папу, маму и добыть из них икру и молоки.

Так и делают, после чего родители уже не нужны. Икру и молоки перемешивают, и таким образом оплодотворяется намного больше икринок, чем в естественных условиях. «Рыбы пастухи» дают оплодотворенным икринкам все,

что может дать природа, и, выпуская в ручей или реку сильную молодь, думают, усмехаясь:

— Мы обвели вокруг пальца старуху Природу.

Научный работник Ференц Бака снял полушубок. Несмотря на солнце, мороз пробирал до костей, но от разгребания снега, этого самого здорового вида спорта, кровь у Ферко кипела. Цепь маленьких озерков, вытекающих из реки, вдоль которых он расчистил узкую — широкая и не требовалась — дорожку, тянулась метров на сто.

Рыжуха сначала сопровождала своего всемогущего друга, наблюдая, как он работает, но потом у нее замерзли лапы, она тихо ушла и, присоединившись на веранде к Мишке, стала вместе с ним глазеть по сторонам. Ворон не был склонен к беседе, а собака, глядя на согнутую спину Ферко, ждала, когда ее позовут; она была крепко привязана к обоим своим хозяевам. Чувство, которое она питала к ним, было чем-то средним между боготворением и беззаветной, бесконечной любовью, наполнявшей ее счастьем. Она готова была, не раздумывая, пожертвовать жизнью не только ради своих щенят, если бы они у нее были, но и ради этих людей. Однако истинная любовь всегда ревнива, поэтому Рыжуха терпеть не могла, когда ее хозяева слишком много возились с Мишкой. Стараясь привлечь к себе внимание, она начинала лаять:

— Гав-гав-гав! Я тоже существую на свете.

— Рыжуха ревнивая, — тихо говорил Ферко, и она виляла хвостом, но тут же принималась ворчать.

— Гар-р-р! Как же мне не ревновать! Я ваш самый верный друг, служанка, защитница и кто угодно.

Покончив с дорожкой, Ферко выловил из озера еще одну форель, с которой свел знакомство Лутра.

— Рыжуха, вот твоя доля, — сказал он.

— Еще одну загубленную форель нашел я в воде. Отдал ее Рыжухе, — сказал он.

Старый ученый с улыбкой кивнул головой; он рассматривал улитку, которую держал в руке. Его мысли, по-види-

мому, блуждали где-то далеко и относились к эпохе, отделенной от нас семью миллионами лет, когда края эти были покрыты чуть ли не тысячеметровым слоем льда и не было ни выдры, ни собаки, ни человека.

Зима возмужала, окрепла. Разрешила отдохнуть ветру, и северные великаны возвратились к себе домой. Опустились на землю холодные слои воздуха, вода в реке притихла, и вороны еще на рассвете прилетели в деревню, где, распространяя тепло, дымились трубы.

С каждым днем все больше холодало. Ветер крепко спал где-то, небо не затягивалось облаками, и по ночам звезды словно ледяными стрелами засыпали побелевшие поля.

Народилась молодая Луна, и Зима, точно только того и ждала, встала во весь свой рост.

— Погляжу, что делается там, внизу, — сказала она. — Надо свести с ними счеты.

Лес онемел. Как стекло, трескалась то одна, то другая ветка; белки сидели съезжившись, и косули с грустью поглядывали на свои окровавленные ноги, пострадавшие от снега.

Присев на берегу реки, Зима смотрела на торопливо бегущую воду.

— Я здесь, водичка, — прошептала она.

Река молчала.

Зима провела рукой по мелководью, и там осталась ледяная пленка. Вода еще больше заторопилась.

— Куда ты спешишь? Замедли свой бег, Зима хочет на тебе поплясать.

— Нет, — зажурчала Река. — Меня влекут дали, и мое дело сохранять таящуюся во мне жизнь. Убери свою страшную руку. Двигайтесь, не стойте на месте, — сердито набросилась она на прибрежные волны. — Двигайтесь, иначе застынете!

Но волны не отвечали. Ледяная пленка становилась все толще и шире.

Река замутилась и, захлебнувшись, оцепенела; ее берега соединило хрупкое матовое ледяное стекло.

— Вот так, водичка, я заткну твой болтливый рот.

— Ты, сестренка, потрудились на славу, — кивнула ей Луна, и от похвалы глаза у Зимы еще больше остекленели.

— Не поможешь ли ты мне, сестрица?

— С удовольствием. Уже холодно, а когда я подрасту и выберусь из земной тени, станет еще холодней.

И Лунадохнула лютой стужей.

— Завтра, водичка, я снова тебя навещу, — сказала Зима.

Встав, ледяная тень удалилась в лес, где на старом дереве, точно черные шары, спали вороны. Зима посмотрела на птиц, пронзила их взглядом. Те, у которых в зобу было мало пищи, этого так нужного в холод топлива, стали совсем беспомощными, и сердце их тревожно билось. Были среди них и две-три с ссохшимся от старости телом, плохо защищенным поредевшими перьями.

Зима не сводила с них глаз, пока самые слабые, взмахнув последний раз крыльями, не попадали мертвыми на землю.

Она бросила внимательный взгляд на новобрачных лисиц, на Инь и Карака, — которые издали наблюдали, как упали с дерева вороны, — но в лисицах бурлила такая жажда жизни, что, с огорчением махнув рукой, Зима разочарованно отвернулась. Однако, не утерпев, пощипала их за нос, и тогда Карак тряхнул головой:

— Поторапливайся, Инь.

Быстро и дружно съели они четырех ворон и помчались домой дорогой, далеко стороной обходившей шалаш, где сидел в засаде Миклош. Следы егеря были совсем свежие, и из камышей равномерно поднимался пар от его дыхания, поэтому лисам пришлось отказаться от псины; да от нее, впрочем, почти ничего и не осталось.

На маленькую выдру Зиме удалось взглянуть лишь мимоходом. Соломенная вдовушка только на миг вынырнула из-под льда, в месте, где со дна выбивался теплый ключ и вода не замерзала. Стужа ее не пугала, и на обледе-

невшем берегу она с большим удовольствием съела рыбу, хотя та была не намного теплее льда. К исчезновению Лутры самочка отнеслась совсем спокойно: она о нем и не вспоминала. Был да сплыл, ну и бог с ним! У нее прекрасная новая нора, скоро родятся детеныши, рыба в реке не перевелась. Чего еще надо?

К бывшему дому Лутры она не приближалась, — ведь падение старого тополя, обвал, разрушивший крепость, врезались ей в сознание нерушимым запретом.

Тщетно изучал Миклош берег около входа в нору: следы большой выдры исчезли, и если он находил кое-где объедки рыбы, то возле них следы были маленькие.

«Уж не переселилась ли она?» — спрашивал он себя, но напрасно искал ответа на этот вопрос. Жизнь его, впрочем, проходила в сплошном сумбуре; по утрам ему приходилось выбираться из безнадежно запутанной сети планов и распоряжений будущей тещи, тетушки Луизы, и будущей свекрови, тети Юли.

Но сейчас Миклош спокойно сидит в шалаше. Чуть мерцает луна, и от снега светло; приди какой-нибудь зверь, нетрудно будет его пристрелить, но никто не идет. Даже тишина как-то застыла. Мыши и те не шевелятся в камышовых снопах, видно, забрались поглубже, в землю. Занимавшиеся разбоем собаки, верней то, что от них осталось, лежат под толстым слоем снега и в чудесной лаборатории природы вместе с весенними водами полностью впитаются в почву. Их кости скроет камыш, и там, где они покоились, еще гуще разрастется трава.

А на верхушке сугроба что-то чернеет, это околевший поросенок; его выпросил Миклош у хозяина.

— Бери его, Миклош, бери. Глаза б мои на него не глядели!

И чтобы приманивать ночью лису, а днем птиц, егерь привез на санках бесславно почившего поросенка, — ведь здоровых, порядочных поросят отправляет к праотцам только нож мясника. Поросенок твердый, как кость, хоть

нож об него точи, птицы не могут его клевать, поэтому и пугало не нужно.

Миклош сидит и мечтает; хоть он в шубе и меховых сапогах, ему вябко. Иногда он дает отдохнуть глазам, которые от сверкающего снега как бы застилают туман, и в ночном полумраке у него сразу же разыгрывается фантазия.

И сейчас тоже! Возле поросенка будто шевелится какая-то тень, за которой мелькает черная точка.

Миклош закрывает, открывает глаза, но по-прежнему шевелится тень и мелькает черная точка.

«Что там такое?» — размышляет он некоторое время, но ему холодно, хочется хоть немного поспать, и — паф!

Безмолвие поглощает выстрел, а егерь, окончательно придя в себя, высовывается из шалаша.

Шевелящаяся тень исчезла, и он подумал: «Зрение у меня, верно, испортилось... Да что ж там в самом деле?» Он смотрел, смотрел на холмик замерзшего поросенка, а потом все-таки пошел к нему, хотя если это не обман зрения, то трудно понять, какой это зверь, за которым бежит черная точка. Но раз уж он, Миклош, выстрелил, то, как всякий порядочный охотник, должен убедиться, не мучается ли подранок.

Снег похрустывал под сапогами, будто ломкое стекло, и Миклош уже ругал себя за необдуманый выстрел, как вдруг, разглядев что-то, застыл на месте.

— Вот так раз! — наклонившись, пробормотал он себе под нос. — Стало быть, это ты, ласка?

На снегу лежал изящный белый зверек, только кончик его хвоста был черным.

«Горностай!» — обрадовался егерь.

В этих краях его называют лаской. Горностай и ласка, разумеется, сродни, но горностай крупней, проворней, и беда птичнику, если ему удастся туда забраться: весь опустошит. Обнаружив горностая, надо быть очень осторожным: он нападает даже на человека. Что его принимают за ласку, неудивительно: летом шерсть у него тоже коричневая, он белеет лишь к зиме, но кончик хвоста остается черным.

Это мудрый закон приспособления, ведь коричневый горноста́й на снегу так же бросался бы в глаза, как белый на опавших листьях в лесу, а слившегося с окружением зверька не замечают ни враги, ни его будущие жертвы.

Егерь идет по высокому берегу; река молчит, и только снег поскрипывает у него под ногами.

На воротнике его шубы поблескивает иней, и на веках, словно присыпанных мукой, ледяная пыль.

«Стужа какая», — думает он и быстро, весело шагает к дому.

Когда он входит в комнатку, его встречает приветливым, веселым треском жаркая печка, а от света зажженной лампы вроде делается еще теплей. Он тут же разделяет горноста́я, которому больше не понадобится его королевская мантия. Помыв руки, садится на край постели, смотрит на огонек лампы, вслушивается в тишину. И ничто не движется, кроме времени.

«Еще три недели, — думает он, — еще три недели, и я назову ее своей женой. . .»

Время движется медленно и равнодушно, горящие угли постепенно опускают свои серые ресницы, и нема тишина.

Луна с каждым днем вставала все позднее и делалась все полнее, словно без конца ела. Она злорадно смотрела, как Зима строго отбирает тех, кого надо оставить в живых, и круглая физиономия ее расплывалась от жестокого наслаждения, когда очередная ворона с шумом падала в снег.

Зима достигла расцвета сил и в сознании собственного могущества находила вполне естественным, что у ног ее лежит скованный мир.

Лед на Реке достиг уже полуметровой толщины, и перед рассветом, когда деревья трескались от мороза, лес словно оглашали ружейные выстрелы. Но трескались лишь те деревья, которые плохо питались, мало сахара накопили в соках своих тканей. Трещины эти, проходящие по всему стволу, со временем затянутся, но от них останется след, и древесина утратит свою ценность.

Караку; несмотря на его роскошную шубу, стужа тоже пришлась не по душе.

— Зима спятила, — посмотрел он на Инь, чья красота уступала лишь мягкой покорности, свидетельствовавшей о том, что полученный ею урок не пропал даром.

— Зима спятила, — повторил Карак. — Впрочем и такую я уже видывал.

Народ Чури, всегда горластые воробьи точно онемели. Они закрыли шумные вечерние заседания своего воробьиного парламента и, сидя в гуще кустов, верно, раздумывали о том, куда запропастился утренний и вечерний корм в свином корыте и куда запропастилась сама огромная Чав, так заплывшая жиром, что даже глаз ее не было видно.

А перепелятник Нер ежедневно в одно и то же время, словно у него были превосходные часы с гарантией, если не во дворе, то в саду, требовал с птичек дань; ему было совершенно безразлично, какие перья останутся на снегу: серые воробьиные, желто-зеленые от синички или красные снегиря.

Серых куропаток тоже стало значительно меньше: с них ежедневно получал свою дань ястреб Килли, и когда в воздухе мелькала какая-нибудь тень, спасаясь в испуге, взлетала уже не многочисленная стая, а всего несколько птиц. Подчас, запоздав, они не успевали вовремя подняться достаточно высоко, и ястреб просто-напросто прижимал свою жертву к земле. Постоянный страх в конце концов принудил петушка отдать приказ:

— Из камышей не выходить!

— Есть! — захлопали глазами члены поредевшей стаи, и с тех пор, как только появлялся ястреб, куропатки тут же забивались под кусты.

И Килли стал голодать. Но кто не голодает в такую стужу? Голодали сарычи, вороны, синицы, воробьи, зайцы, косули, лоси и даже филин Ух, который дремал озябший на краю дупла и так похудел, что мог бы дважды обернуть вокруг себя ремень от брюк (конечно, если б он носил брюки, а к ним ремень).

— Я же говорил, я же говорил: все здесь помрут, ух-ух-ух! — хрипло — у него слегка побаливало горло — кричал он. — Конец, всем конец!

— Бедненький Ух, бедный старый Ух, ты, конечно, страшно похудел, — повел ушами сидевший под деревом Карак. — Но зачем об этом кричать?

— Не только я! Не только я! — встрепенулась зловещая птица. — Все, все погибнут! — и скатилась в глубину дупла, к великому сожалению Карака, желавшего сказать ей еще несколько дерзостей.

Однако голод и холод донимали не всех.

Лутра, например, и не голодал и не мерз. Он, конечно, не пировал, не объедался, но ел регулярно и так или иначе ежедневно добывал себе рыбку.

Не следует думать, будто он удовлетворял свою потребность в калориях в рыбоводческих озерах. Уже на другой день после кровавого пиршества он обнаружил там устрашающие признаки присутствия человека.

Большая выдра решительно и беззаботно пробиралась к чудесной рыбной кладовой, но примерно в сотне метров от нее вдруг остановилась. В долине поднималась к небу холодная мгла, и в воздухе витал не только остывший, безопасный запах жилья, но и едва уловимый тепловатый дух собаки и человека. Взобравшись на плоский камень, Лутра сидел в нерешительности: запахи эти не усиливались, но и не пропадали. Над озерком, в гуще деревьев, в соломенном шалаше, покрытом сверху хвойными ветками, прятались Ферко и Рыжуха. Собака лежала между ног хозяина, счастливая от сознания ответственности порученного ей дела.

Почувствовав их присутствие, Лутра перебрался к другому берегу. Там слабый человеческий запах уже едва только ощущался, и поэтому, держась тени, он совершенно беззвучно поплыл вниз по реке. Запах постепенно совсем исчез, — ведь Лутра уже вышел из текущей вниз струи воздуха и почти поравнялся с Ферко. Он вылез на затененный берег, но увиденное там заставило его насторо-

житься, и он едва не прыгнул обратно в воду. Дело в том, что вокруг маленьких озер над снегом извивались какие-то странные змеи (кусочки ленты от пишущей машинки), — слабый ветерок подхватывал и отпускал их, а они то ожидали, то вновь застывали.

— Нельзя приближаться! — как удар молотка, предупредил выдру инстинкт самозащиты.

Вдобавок тихо пошевелилась Рыжуха. Ферко ногой решительно призвал собаку к порядку, она тут же притихла, но нервное подрагивание хвоста говорило о том, что она что-то видит.

Лутре, однако, достаточно было уловить этот невнятный обрывок звука. Опасность показалась ему не столь близкой, но вполне реальной, и поэтому он, как пришел, так же тихо и ушел, нырнув в черную воду.

Непонятно, как собака почувствовала его приближение. Но когда он сел на плоский камень, она тоже села и, выглядывая из-под полы хозяйской шубы, между ветками стала внимательно смотреть на воду. Однако темную тень она рассмотрела, лишь когда та вылезла на берег. Тогда-то собака и зашевелилась.

Рыжуха не знала, кто перед ней, но чуяла, что это враг, и ворчанием предупредила Ферко:

— Он тут! Тут. Неужели не видишь?

Собака, разумеется, не знала, что на такое расстояние из ружья дробью попасть невозможно, и потому, когда Ферко больно щелкнул ее по голове, она, сознавая свою вину, конечно, замолчала, но обиделась.

— Тихо! — прошептал Ферко.

Этот приказ Рыжуха тут же поняла и сжалась в комок. Но как объяснить хозяину, что видение исчезло и можно идти домой? А он, упрямый, как осел, так и не двинулся с места, пока мороз не пробрал его до костей.

— Пошли, Рыжуха, а то окоченеет.

Собака с удовольствием приняла предложение и, встряхнувшись, побежала чуть впереди хозяина, напряженно при-

слушиваясь, — ведь за человеком надо присматривать: он плохо видит и слышит.

Но ночь была безмолвной и безжизненной; только звезды смотрели с неба, и среди них угрюмой хозяйкой летнего ресторана в занесенном снегом саду бродила луна.

Поглядев на небо, Ферко отыскал семь звезд Большой Медведицы, ручка ковша которой еще только начала опускаться, указывая, что недавно минула полночь.

— Рыжуха, мы, глупые, зря ушли. Надо было еще посидеть.

Река тихо журчала, играя в мяч с луной и звездами, а озерки застыли в неподвижности, — в их рамки Зима поставила толстые стекла. Стекла эти Ферко по утрам разбивал и счищал снег со льда, чтобы рыба получала достаточно воздуха, точнее — кислорода. Свежая вода и в самый сильный мороз давала форели питание, но водяным растениям, для того чтобы выделять кислород, необходим солнечный свет.

Ферко окинул взглядом цепь застывших маленьких озер и подумал: утром он посмотрит в окно и увидит в одном из капканов коричневое пятно, огромную выдру.

В верхнюю комнату с галереи вела лестница. Прежде чем подняться по ней, намеренно оттягивая время, Ферко поглядел на Рыжуху. Вертя хвостом, она в напряженном ожидании смотрела на хозяина, который мог сейчас одарить ее необыкновенным счастьем или причинить ужасное огорчение.

Ведь изредка этот могущественный, наказующий и милующий, кормящий и глядящий по шерсти двуногий бог говорил:

— Пошли, Рыжуха, сегодня будешь спать у меня.

И тогда собака чуть с ума не сходила от радости. Она носилась вверх-вниз по крутой лестнице, лизала Ферко лицо, скреблась наверху в дверь. Не было для нее большего счастья, чем попасть в комнату с ее простой обстановкой, обнюхать ножки стульев, шкаф, печку и потертую шкуру барсука, на которой она обычно спала.

Но сегодня Ферко был точно каменный, он отвернул голову и лишь одним глазом следил за хвостом-депешей глубоко озабоченной Рыжухи:

— Что ж он скажет? Что он скажет?

И когда Ферко рассмеялся, приступ безумной радости охватил собаку. Она подпрыгнула, помчалась в сени, вернулась обратно, покрутилась возле хозяина, поднялась по лестнице и стала, скуля, царапаться в дверь.

Термометр на улице показывал двадцать градусов мороза, а часы в комнате — час ночи.

Но Лутру мороз не трогал. Он регулярно обследовал глубокие пороги и всегда что-нибудь да находил, правда, каждый раз все с большим трудом. Форели, точно почувствовав, что близок враг, при малейшем подозрении тотчас же прятались под камни, в трещины скал, и тогда он тщетно подстерегал их. Но иногда ему все же удавалось поймать несколько рыб. Но чтобы отыскать неизвестные другим охотникам пороги и менее проворную форель, ему приходилось подниматься по реке все выше.

Рыбоводческие озера Лутра посещал ежедневно, хотя плавал только у берега, противоположного шалашу Ферко и до полуночи лежащего в тени.

Во время прихода Лутры Рыжухе от волнения не сиделось на месте, и она тыкалась носом в сапоги хозяина.

— Неужто ты ничего не видишь? Неужто не видишь?

Ферко понимал, что собака кого-то заметила, но не видел выдру даже в полевой бинокль. Лутра постепенно привык к колышущимся или неподвижным черным лентам, и свойственная ему осторожность словно стала ему изменять, но все же он инстинктивно не покидал тени. Рыбоводческий завод на озерах как будто надежно охраняли капканы и пугало из лент.

— Может, она ушла из наших краев, — сказал однажды Ферко, но Петер Ужарди отрицательно покачал головой.

— Пройди по берегу. Если не найдешь никаких следов, то ушла. Но думаю, что нет.

Поэтому Ферко надел лыжи и спросил свою верную помощницу по имени Рыжуха, пойдет ли она с ним.

— Как не пойти? — затыкала собака.

— Тихо! Последнее время ты стала больно голосистой.

И следы Лутры, конечно, нашлись кое-где на берегу, на камнях и на льду, наводящем мост между берегами. Живая, темно-зеленая вода струилась уже только на середине реки и на порогах, где выдра бросалась вниз, делая двух-трехметровые прыжки.

Рыжуха была очень довольна прогулкой, она неоднократно подбирала обильные крошки со стола Лутры.

— Ешь, Рыжуха, — все больше и больше хмурясь, говорил Ферко.

Когда следы выдры исчезли — это было довольно далеко от дома, в верхнем течении реки, — Ферко повернул обратно.

— Хватит и того, что видели, — прошептал он, чувствуя, что громкий голос в девственном безмолвии леса — все равно что разудалая песня в доме покойника.

Лыжи бесшумно скользили по снегу, и собака, у которой все больше мерзли лапы, бежала следом за хозяином. Когда он останавливался, чтобы поправить крепления, Рыжуха тоже останавливалась и стояла, поднимая то одну, то другу лапу.

— Скоро будем дома, и я помажу тебе лапы, — поглаживая, утешал ее Ферко.

Вернувшись домой, он намазал ей ступни вазелином, который Рыжуха слизала, как только ее могущественный друг вышел из комнаты.

— Дядюшка Петер, вы были правы. Там много следов. В шести местах мы нашли остатки рыбы, в одном месте — рака. Выдра поймала и хариуса. Если мы что-нибудь не предпримем, к весне не останется рыбы в реке.

— Что можешь ты предпринять?

— Ничего, — признался Ферко. — А Рыжуху каждую ночь что-то тревожит, о чем-то она мне сигналист, и наверняка не попусту. Я уж подумал, не снять ли мне клочки

ленты, видно выдра издалека следит за тем, что происходит на озерах.

— Возможно. Но она разбойничает после того, как ты покидаешь засаду. Я уже стар для таких дел и тебе не позволю сидеть там до утра. Простудишься насмерть. Пока что наши рыбоводческие озера мало пострадали, успокоимся на этом. А там видно будет.

Ференц Бака в задумчивости смотрел на огонь в печи, потом перевел взгляд на дремавшего на одном из ящичков ворона.

— Эй, Мишка, где мой пинцет? — вымещая досаду на Мишке, спросил он.

Ворон слышал вопрос, но молчал. Он не любил, когда с ним разговаривали строгим требовательным тоном.

— Мишка, я принес тебе рыбы, — и, развернув газету, Ферко показал ее содержимое, — но ты ничего не получишь, пока не найдется пинцет. — И он снова завернул рыбу.

Это огорчило ворона.

— Я Михай Ужарди, — с мольбой глядя на Ферко, заискивающе проговорил он и вразвалочку пошел к нему.

— Ничего не выйдет. Будь ты хоть племянник Наполеона, пока не найдется пинцет, не видать тебе рыбы.

Мишка собирал все, что блестит, начиная от стеклянных осколков, кончая никелированным пинцетом. Иногда приходилось обыскивать его тайники, чтобы извлечь оттуда пропавший ключик от часов, булавку для галстука или зеркальце, глядя в которое Петер Ужарди подкручивал свои усы когда-то, чуть ли не полвека назад, еще черные как смоль.

Мишка упрямно защищал свои сокровища и бранился в этих случаях исключительно на вороньем языке. Но поскольку ненужные вещи люди у него не отбирали, он постепенно успокаивался, а оставшись один, тотчас перепрятывал свой клад в другое место.

— По-моему, его сокровища здесь, за ящичком, — сказал

Петер Ужарди. — Последнее время он все чаще на нем сидит; видно, охраняет свои богатства.

Переложив пачку книг, Ферко отодвинул ящик, и в тот же момент Мишка подскочил к нему и, забыв о рыбе и дружбе, клюнул Ферко в ногу.

— Ах ты, негодник! — оттолкнул Ферко ворона, который сердито закаркал и, допрыгав до Петера Ужарди, выразил ему свой протест.

У старого ученого от смеха даже слезы выступили.

— Ищи скорей, Ферко. Я отдам потом Мишке его игрушки. Ну как, нашел?

— Конечно. А кроме того, здесь моя металлическая авторучка. Вот уже три недели, как она пропала. Я думал, что потерял. И вот вам, пожалуйста.

Мишка взволнованно топтался на месте.

— Оставили мы тебе еще много добра. — Ужарди положил на прежнее место книги, и ворон сразу забрался на ящик, враждебно поглядывая на людей.

Но зашуршала газетная бумага, и взгляд ворона подался. Он не спускал глаз с рук Ферко, пока не увидел воочию рыбные объедки. Тогда он встал и, проверив, надежно ли запрятан его клад, засеменил к Ферко.

— Карр! Я Михай Ужарди!

— Кто ты такой?

— Дай ему, Ферко.

— Ты воришка! На, вот тебе рыба.

И Мишка тотчас принялся за еду.

Луна полнела, но больше не холодало. Хрустальная высь неба стала серой, и звезды ночью едва мерцали.

По речному льду весело, точно на коньках, катился снег, но, натолкнувшись на берега, залегал сугробами. Подо льдом бесшумно скользила вода, по мере того как росли сугробы, делаясь все темней.

— И так жить можно, — поглаживала она снизу лед.

— И так жить можно. Зима стареет, а мне хоть бы что!

Слой льда под снегом больше не утолщался.

— Потерпите, — ласкала своих обледеневших детей Река. — Потерпите, скоро вырветесь на свободу.

Но подручные Ветра еще носились туда-сюда, и озябший Ферко согревал дыханием руки, — ведь он вместе с Рыжухой страшно мерз.

Под натиском ветра с шалаша чуть не слетела крыша, и Ферко в очередной раз решил покинуть засаду и двинуться домой, ведь сколько бы Рыжуха не подпрыгивала, он ничего не видел и не слышал, но и он насторожился, когда ветер донес странный звук, напоминавший тихий хлопок в ладоши.

— Что это?

Собака возбужденно пошевелинулась.

«Нет, это не хруст ветки. Лед тоже трещит иначе. И непохоже, чтобы скатился камень. Вроде какой-то тихий хлопок. — Ферко вдруг стало жарко, и, подавив вздох, он подумал: — Неужели капкан?»

Он выждал еще несколько минут, не повторится ли звук, убив его надежды, — ведь капкан дважды не захлопывается, но лишь ветер ревел, и, отряхая с ветвей снег, шуршали сосны.

— Пошли, Рыжуха! Если я не ошибся, ты получишь кусок хлеба с маслом и колбасой.

Едва только они вылезли из шалаша, их чуть не сбил с ног ветер.

— Рыжуха, назад!

Она тотчас пропустила вперед своего могущественного друга и побрела за его спиной.

Ферко оберегал собаку, которую большая выдра, если та еще живая сидела в западне, могла изувечить и даже убить.

— Спокойно, — шепнул он Рыжухе, хотя в спокойствии гораздо больше нуждался он сам: ведь в среднем капкане виднелся какой-то темный бугорок, присыпанный снегом.

— Рыжуха, назад!

Держа ружье наготове, Ферко остановился в пяти шагах

от западни. Однако попавшееся животное, казавшееся совсем черным, лежало совсем неподвижно.

— Так это же хорек, — подойдя ближе, ничуть не разочарованно проговорил он. — Дядюшка Петер обрадуется. Стало быть, капкан стоит удачно.

Руки у него совершенно ооченели, и он не стал возиться, вынимать хорька и понес его домой прямо в капкане. Впереди как почетный эскорт шла собака.

— Большой хорек. Такого большого мы еще ни разу не видали, правда, Рыжуха? Впрочем, я не на него рассчитывал, и поэтому хлеб с маслом и колбасой отменяется.

Они поднялись по крутой лестнице. Ферко зажег свет и вынул добычу из капкана. Вынув, он стал вертеть зверька в руках, рассматривая его со всех сторон, и чем дальше смотрел, тем в большее приходил возбуждение.

— Норка, — прошептал он себе под нос. — Норка! — громче повторил он. — Дай, я обниму тебя, Рыжуха. Знаешь, кого мы поймали? Ты получишь хлеб с маслом и колбасой.

И он понесся на первый этаж, а следом за ним зараженная его волнением собака.

— Да, норка, — погладил старик пойманного зверька по красивой шерстке. — Мне даже жалко ее, ведь так мало их осталось! Но будем надеяться, это не последняя и, к счастью, самец.

— Это первая, которую я держу в руках, — сказал Ферко.

— Посмотри, подбородок у нее всегда белый. Шерсть блестящая коричневая, подшерсток желтоватый, а хвост черный. Видишь, какие у нее лапы, с перепонками. Она может делать почти все, что делает выдра, но предпочитает ловить раков и лягушек. Измерь ее, Ферко. Там где-то лежит маленькая рулетка, если только мой сынок-ворон не присоединил ее к своему кладу.

Сидевший на ящике Мишка притворился спящим.

— Вместе с хвостом шестьдесят два сантиметра.

— Я же говорю, прекрасный экземпляр. Норку поймал

ты, и распоряжайся ей по своему усмотрению, но в зоологическом музее были бы рады. . .

— Утром я отнесу ее в деревню, отправлю срочной посылкой. Послезавтра она будет на месте. В такой холод с ней ничего не случится.

— Думаю, Ферко, так будет лучше, чем если бы ты сделал из нее чучело, которое съела бы моль.

— Конечно, дядюшка Петер. Это была замечательная ночь. Она мне запомнится на всю жизнь. Но попалась не выдра. Не та огромная выдра. Так что не брошу я засады, посижу еще несколько дней в шалаше.

И утром Ферко опять надел лыжи.

— Рыжуха, оставайся дома, — махнул он рукой явившейся тотчас собаке, которую огорчил и даже немного обидел такой приказ. — Надо сторожить дом, и я не люблю, когда ты дерешься с деревенскими псами. — В утешение он погладил ее по голове. — Потом пробежишься по берегу, тебе тут, — и он сделал широкий жест рукой, — все доверяется.

Снег был твердый, точно утопанный; мороз чуть ослабел; еще простирались, точно вставая с ночного ложа, длинные утренние тени, и где-то протяжно кричал черный дятел.

Ферко медленно скользил по снегу. Он глубоко дышал, кристально чистый аромат смолы и хвои попадал ему словно прямо в сердце, прохладный крепкий хмель проникал в кровь, и Ферко с сожалением вспоминал о почте с ее ароматами.

На некотором расстоянии от дома он остановился и взглянул сверху на маленькие строения и цепь небольших озер; все было перед ним как на ладони. Из трубы мирно поднимался дым. Вдруг сердце его сжалось от волнения: Рыжуха обнюхивала один из выдровых капканов, сейчас она сделает еще один шаг, и ей конец.

— Рыжуха! — вне себя закричал он. — Рыжуха, скорей ко мне!

Сняв перчатки, он засунул в рот два пальца и свистнул пронзительно, как терпящий крушение паровоз.

Вскинув голову, собака заискала взором среди сосен на горном склоне хозяина. Дрожь пробегала по ее спине, — ведь в его голосе прозвучал страх, чуть ли не просьба о помощи, и резкий свист повелительно разнесся по долине.

Когда, отступив назад, она увидела Ферко, то без раздумья покинула соблазнительную, сулившую гибель приманку и помчалась к своему могущественному другу, попавшему в беду.

— Я бегу, бегу, — раздавался звонкий собачий лай.

— Я бегу!

А Ферко несся вниз напрямик, не обращая внимания на опасные препятствия, пока, наконец, не врезался в кусты можжевельника и, раскинув руки и ноги, не скатился из зарослей к мчавшейся ему навстречу Рыжухе.

При виде съезжающего с горы на животе главного бога Рыжуха сначала испуганно отпрыгнула в сторону, а потом обрадованно лизнула его в лицо; он и не противился, только расстроганно смотрел на собаку, выражавшую бурную радость.

— Ох, Рыжуха, как же ты меня напугала! Какой я осел, негодяй последний, оставил там заряженные капканы. Рыжуха, не знаю, как бы я это пережил! — воскликнул он, прижимая к себе собаку, которая ничего не понимала, но чувствовала, как излучаемая человеком любовь проникает ей прямо в сердце.

Уже приближался полдень, и на отдельных участках с солнечной стороны стал подтаивать снег.

Ферко готовился к очередной ночной слежке. Достал полевой бинокль, собрал теплую одежду.

Собака и ворон наблюдали за его сборами. Последнее время Рыжуха была неразлучна с Ферко, и Мишка чувствовал себя несколько заброшенным. Но собака не оставляла без внимания своего старого приятеля и без

всякой ревности выплясывала вокруг него, когда он, прыгая со ступеньки на ступеньку, взбирался по крутой лестнице.

Ферко попалось под руку блестящее кольцо, и он показал его ворону.

— Мишка, это для твоей коллекции.

Глаза у ворона засверкали, но он сделал вид, будто кольцо его совершенно не интересует. Этот человек столько раз его обкрадывал, что он не верил в его щедрости.

— Возьми, глупый, тебе даю.

После долгого раздумья ворон взял в клюв никелированное кольцо, и только Ферко отвернулся, как он выскользнул из комнаты, но вскоре вернулся, — из чего можно было догадаться, что он спрятал новое сокровище в какой-то временный тайник.

Ферко, зевая, смотрел на Рыжуху, которая моргала, словно говоря:

— Неплохо бы посидеть дома.

Надо признаться, что двумя нашими охотниками двигало лишь чувство долга, а не охотничья страсть. Мысль о ночном холоде, пронизывающем руки и ноги, не веселила Ферко, и он нехотя поплелся к двери.

— Выходи, Мишка, я запрю дверь. Расшиби молнией эту выдру, где бы она сейчас ни была!

Пожелание Ферко исполниться не могло, — ведь нет на свете такой молнии, которая способна была бы поразить Лутру в его норе. Но и Лутра был настроен не очень весело. Он лежал посапывая, всматриваясь в хмурую темень норы, каждым волоском ощущая надвигающуюся в природе перемену. Его инстинкты и чувства дремали, сосредоточенные на том, что происходило поблизости, вплоть до тех пор, пока в желудке не заговорил голод.

Тогда он выполз из норы.

Все вокруг было сонное, расплывчатое, невыразительное, выжидающее.

Все, но только не форели! Лутра со все возрастающей

яростью спустился уже в третий порог, но едва только он шевелился, как что-то блистало в безжизненной воде, но тут же вновь пропадало.

Не останавливаясь, он проплыл по маленьким озеркам, держась прибрежной тени, и даже Рыжуха его не заметила, — ведь лишь нос торчал у него из воды, а этот удивительный нос уловил крепкий рыбий дух, и тогда голод заплясал у выдры в желудке.

— Нельзя! — восстал здоровый инстинкт: ведь обрывки ленты еще болтались на проволоке, правда, вяло, бессмысленно ожидая чего-то, как все в этот вечер.

В этот раз Лутра спустился по реке ниже, чем обычно, но так ничего и не поймал. Вся добыча словно заранее спряталась от него, даже до преследования ее дело не дошло. Наконец он повернул обратно и, проблуждав еще некоторое время, поймал кефаль, но у нее только плавники большие, а сама она маленькая. Проглотив ее на ходу, Лутра почувствовал лишь еще больший голод. В упорных поисках рыбы он и не заметил, как снова приблизился к маленьким озеркам и на этот раз впервые с другой стороны, снизу. Плотина здесь поворачивала от реки, озера начинались выше, но зато не извивались запрещающие черные змеи, и в воздухе не чувствовалось ничего, кроме остывшего запаха дыма.

Голод подгонял Лутру, и свойственная ему осторожность почти заглохла. Не спеша выполз он на лед, оттуда — на плотину. Он видел неподвижные ленты, туманные окна дома, проруби во льду, но все это ни о чем ему не говорило. Воздух, тяжелый как свинец, застыл в неподвижности, и ничего в нем не казалось угрожающим.

Нельзя сказать, что Лутра не ощущал никакой опасности, но она была смутной, такой, как обычно вблизи человеческого жилья, и ее местонахождение и направление оставались неясными.

Сперва он крался в тени по тропке, но, заслышав справа плеск воды, выполз на снег.

И тогда в шалаше беспокойно завозилась Рыжуха.

— Там, там, — дергалась она. — Ой, какая большая! Ферко ничего не видел, но когда приставил к глазам бинокль, чуть не выронил его. Теперь и его затрясло. Сердце его взволнованно забилося, и когда Лутра во всю свою огромную длину растянулся на снегу, он нацелил на него свое ружье.

«Чуть далековато, — шевельнулась в голове у Ферко нерешительная мысль, — но дробь в ружье крупная».

Через несколько бесконечно долгих секунд прогремел выстрел. И снова наступила тишина.

Выдра упала на спину и так и осталась.

Ферко затопила теплая волна какого-то расслабляющего счастья.

— Попал, Рыжуха, попал!

Бросив все в шалаше, он выскочил наружу.

— Рыжуха, назад! — хрипло крикнул он и с ружьем в руках помчался к зверю.

«Выдра, видно, совсем потонула в снегу», — подумал он и припустился во весь дух, чтобы поскорей рассмотреть это редкое животное, но когда подбежал ближе, точно чья-то ледяная рука сдавила ему грудь.

Он замедлил шаг и шел все медленней, точно на плечи ему легли горы сомнения, а потом, не веря собственным глазам, остановился.

Выдры нигде не было.

«Быть не может! — не желал он мириться с потерей. — Быть этого не может! Я же видел, как она повалилась, сам видел».

Ферко готов был позорно расплакаться, — ведь трезвый голос говорил ему, что в поверженную выдру следовало бы выстрелить еще раз: от первого выстрела она тут же растянулась, значит у нее поврежден, парализован позвоночник, но иногда этот паралич длится лишь несколько минут.

У Петера Ужарди уже горела лампа. Он проснулся от

выстрела и ждал Ферко, а тот, мрачный, подавленный, едва волооча ноги, вошел в комнату.

— Ушла? — взглянул на него старик.

— Да, — прошептал незадачливый охотник.

Рядом с ним, сокрушенно уставясь в пол, как самый близкий друг, свидетельница происшедшей трагедии, стояла Рыжуха.

— Я выстрелил, она, точно молния ее поразила, упала на спину и вроде бы больше не шевелилась. Но когда я подошел, ее уже и след простыл; как-то, видно, добрела до воды.

— Повреждение позвоночника, — кивнул Ужарди.

— И я так думаю, дядюшка Петер. Она как леопард! — воскликнул Ферко.

— Понимаю тебя, сынок. Но форели теперь уже ничего не грозит: выдра больше сюда не придет, это уж точно.

— Знаю.

— И это главное, как бы печально ни было...

— Очень печально, — проговорил Ферко и, попрощавшись с Ужарди, пошел к себе. — Рыжуха, иди на место, — сделал он знак собаке, и та понуро поплелась в свою конуру на дворе, и напрасно она еще долго прислушивалась, ее надежды убил удаляющийся топот ног и стук закрываемой двери.

Лутра, конечно, больше не подойдет к дому, где такая жестокая боль охраняет форель. Он даже не услышал грохот выстрела; после вспышки сразу последовал страшный удар, от которого он повалился на спину и несколько секунд пролежал без сознания, оцепеневший. Потом почувствовал ужасную боль в позвоночнике и, еле держась на ногах, обратился в бегство.

Неимоверно страдая, опустил он под воду и плыл, пока в легких хватало воздуха, а когда высунул нос из воды, озера были уже далеко позади. С тоской смотрел он

на каменные площадки, удобные для отдыха, но сейчас нельзя отдыхать, домой, скорей домой!

Приблизившись к норе, он с трудом пересек быстрину, насилу вскарабкался наверх и, сгорбившись, сел, наконец доверившись надежности крова.

Боль гнездилась где-то под позвоночником, и гнетущее, помрачавшее разум чувство говорило, что там причина несчастья.

С трудом пригнув голову, Лутра полизал кровоточащую рану, но это не помогло. Тогда с дикой яростью впился в нее зубами, и тут боль утихла, а на краю раны появилась расплюснутая большая дробишка. Лутра с отвращением смахнул ее и, когда свинец упал на песок, почувствовал, что беда миновала.

Он закрыл глаза, и ослабевающая боль точно слилась с происшедшим несчастьем, от которого уже не было спасения.

На другой день рассветало долго и тягостно. Звезды потухли еще ночью, о наличии луны можно было лишь дога-



дываться. В долинах лежал плотный туман. Он клубился, но не уходил, не прорывался и все окутывал белой пеленой. Осев на речной лед, он его размягчил, отчего изменился, стал полней и теплей голос реки, она забурлила громче.

Солнце, разумеется, взошло, но его красный свет упал только на самые высокие горные пики, повсюду же кругом распространилось лишь неясное мерцание. Не было ни светло, ни темно.

Стоял туман.

Лутра следил за слабым, не менявшимся с утра светом, и не двигался с места, подчиняясь приказу раны, а приказ этот был: не шевелиться.

Голод больше не причинял страданий, но поврежденный позвоночник и мышцы пульсировали, пронзенные болью. Они точно существовали сами по себе. Его лихорадило, воспалились даже глаза. На минутку-другую он засыпал, что было очень приятно; во сне забывалась происшедшая беда. В туманных далеких сновидениях ему начал чудиться плеск равнинной реки; не спеша текла знакомая тепловатая вода. На карте его памяти снова появилась колеблющаяся манящая точка — точка, являющаяся как бы частицей его самого, но оторванная от него и не могущая успокоиться нигде, кроме как в старой его берлоге.

Постепенно туманное мерцание в устье пещеры померкло, и лишь спустя долгое время, на другой день утром, на свод снова упал мягкий свет.

Лутре перестало здесь нравиться. В этих стенах гнездились боль и голод. Боль, правда, уже слабела, но голод все усиливался и сливался с пульсированием раны.

Пошевелившись, большая выдра села, а потом прошлась по пещере. То и дело останавливаясь, она потягивалась, словно проверяла способность двигаться, как вдруг что-то увидела на стене.

По серому камню полз серый паук. И Лутра съел паука. Три дня ничего не держал он во рту, и теперь паук оказался ему довольно вкусным.

До вечера Лутра отдыхал, выздоравливал, но его изводил голод. Когда тьма снова заползла в устье пещеры, он тихо опустился в воду.

Рана сразу перестала пульсировать. Он бросился в быстрину, некоторое время шел подо льдом и почувствовал, что боль причиняют лишь резкие повороты, а плыть напрямик он может не хуже, чем раньше.

После долгого выслеживания он поймал форель, не большую, но и не маленькую; она словно растаяла у него в пасти: от рыбы не осталось ни одной косточки. Потом он выполз на большой плоский камень и сидел на нем до тех пор, пока точка не начертала на карте его памяти маршрут пути. Тогда, соскользнув в воду, он поплыл прямо на юго-запад.

Лутра не понимал, что возвращается домой. Он не чувствовал никакого умиления, но ему надо было уйти отсюда, из этого опасного, плохого места, в другое, надежное и хорошее.

Холодная вода промыла рану, и когда он вылез на берег, то даже забыл о боли. Однако он не торопился. Да и нельзя было спешить: снег был рыхлый, вязкий, и лес окутывал густой неподвижный туман.

Река еще молчала подо льдом, но то здесь, то там выгибая спину, пробивала его и на пороге, где стояла мельница, открыто бранила Зиму. Но одновременно она и настороженно прислушивалась: ночь возле мельницы была беспокойной, освещенные окна весело всматривались в туман, и, когда распахивалась дверь, звуки музыки, словно в доме им было тесно, выплескивались на снег.

— В чем дело, старое колесо? В чем дело?

— Не знаю. Ходят туда-сюда. Так уже было когда-то. То плачут, то смеются. Весна приходит на смену зиме, зима — на смену осени. Мне-то уж все равно. Хоть я и не люблю зиму, но зато зимой отдыхаю.

— Ненавижу ее, ненавижу! — гремела Река. — Я еще покажу, на что способна моя водичка!

Тут она уперлась спиной в маленький просвет, раздался звук, похожий на свист бича, и во льду до противоположного берега протянулась трещина. На гладкую ледяную корку хлынула вода.

В стогу соломы, глубоко зарывшись в его тепло, посапывая, переговариваются взглядами две собаки: Пират и его располневшая супруга, Марош.

— Если бы нам всегда столько еды доставалось, у нас были бы очень крепкие щенята, — говорят глаза Марош. — Только бы смолк этот ужасный вой. С меня точно шкуру сдирают.

— И я его не переносу, — мотает головой Пират, словно пытаюсь вытрясти из ушей грустные вздохи скрипок и визг кларнета. — Но так много я еще сроду не ел.

— И даже полаять нельзя, — негодует словоохотливая Марош. — Правда, люди собрались все порядочные. Меня все гладили. И даже чужие. В таких случаях я обычно кусаюсь, но сегодня. . .

— Сегодня нельзя, сегодня все хорошие. Животы у них битком набиты, как и у нас.

Пират не ошибался. Сытые, хорошие люди собрались в доме мельника. За праздничным столом даже смертельные враги помирились бы, но таких здесь нет. Лица у всех сияют от радости, и когда тетя Юли входит то с одним, то с другим блюдом, одобрительные возгласы оглашают комнату, и старушка от счастья и гордости чуть не роняет блюдо.

Все уписывают за обе щеки и пьют вдосталь. Сначала, конечно, приналегли на еду, а потом на передний план победоносно выступило вино Имре Калло. Ведь он в числе гостей, а вино его свадебный подарок.

— Не жалейте вина! — подбадривает он рыбаков. — Достаточно вы в своей жизни воды видели, а вот такое вино, думаю, не часто вам попадалось. Я приберег его для невесты.

Бредет ночь, и в протяжные звуки музыки врывается иногда тиканье старых часов, отмеряющих время. Потом

скрипки замолкают, их голос исчезает, как милая тень воспоминаний, а часы мерно идут, и кивает головой время: да...да...да...

Ночь совсем расслабилась, словно скрипичная струна на дожде. Туман осел на древесных стволах водой; крупные, пузатые капли некоторое время висели на концах веток, а потом попадали в вязкий, кашеобразный снег.

Рана у Лутры уже не болит и не пульсирует, но ему приходится еще соблюдать осторожность: при более резком извилистом движении он чувствует покалывание и тогда вспоминает грохот выстрела.

Лес хранит молчание, слышно только, как падают капли с деревьев. Лутра время от времени останавливается, прихихиваясь, и отчетливо сознает, что теперь все опасности далеко. Тоска ведет его по верному пути, словно бы по карте, нарисованной инстинктом, и он очень удивился бы, не окажись на старом месте пещера с летучими мышами, как удивляется путник, не найдя на привычном месте старый трактир с его традиционными блюдами.

Никаких определенных планов у Лутры не было, однако глубоко в его сознании живет старая пещера, приют, сулящий не только защиту, но и пищу, покой и отдых, необходимый для заживления раны.

Выдра спешит, она бежит по высокоствольному лесу, и ничто не может сбить ее с пути, ведущего на юго-запад. Туман стелется по земле, почти ничего не видно, но уши и нос восполняют ей отсутствие видимости.

Было уже далеко за полночь, когда Лутра почувствовал, что над ним не смыкаются больше высокие сосны и, судя по колыханию тумана, он дошел до подножия большой скалы. Да и воздух здесь другой. Аромат сырой смолы сменился горьковатым вольным запахом можжевельника и почти земляным духом выветривающегося камня.

Лутра немного отдохнул — переход по холодному снежному месиву был нелегок, — основательно обнюхал уступ отвесной скалы, затем вошел в пещеру, как путник — в

придорожный трактир, где еще у его деда был постоянный столик.

В пещере было много темнее, чем снаружи, но зато не было тумана, и потому Лутра видел куда лучше, чем под открытым небом. Он обнюхал ложе, сохранившее очертания его тела, попытался приподняться, поскольку помнил, что так можно сбить более низко прилепившихся летучих мышей, и долго рассматривал эти маленькие скрипучие зонтики, зная: как только он опрокинется на спину, ему станет больно. Но так как голод был сильнее боязни боли, Лутра быстро смахнул двух летучих мышей и уже во время падения почувствовал, что этого ему делать нельзя: все тело его содрогнулось от мучительной боли, а летучие мыши тем временем попытались от него уползти. Но, разумеется, лишь попытались.

Растревоженная тишина вскоре вновь сгущается. Лутра спит — глаза, во всяком случае, у него закрыты, — и летучие мыши спят, а снаружи туман лижет скалу.

Но вот Лутра проснулся. Он лег спать усталый, но сытый, утолив голод летучими мышами. Его окружали стены уже знакомой пещеры, вода прежним голосом отдавала распоряжения носящимся по волнам льдинам, и в спокойном глубоком сне точно испарились все его воспоминания о зимнем странствовании.

Весь вчерашний день пролежал он в пещере. Нагретый воздух поглаживал задеревенелые мантии летучих мышей, и то одна, то другая начинала скрипеть.

Тогда уши у Лутры настораживались, но он не шевелился, — ведь боль утихла, и он не хотел ее будоражить ради какой-то летучей мыши. Когда же наступили сумерки, он, не взглянув даже на скрипучие зонтики, выполз к подножию большой скалы.

Идти теперь стало много легче, дорога все время шла под гору, да и снег осел. С деревьев капало, под снежным настом бежали ручейки, и старая выдра свернула с намеченного направления, только когда надо было обойти дом лесника. Не родился еще такой огромный гусь, ради кото-

рого, несмотря на голод, Лутра сделал бы лишний шаг. Описав большой круг, оставил он в стороне дом и снова пошел в нужном направлении. Лес уже стал редеть, и между деревьями широкими языками вклинивались склоны голого холма.

Пыхтя, посапывая, он присел ненадолго, прислушался, и по всему его телу разлилось какое-то грустное спокойствие, — ведь вдали, за пологом тумана что-то лепетало: словно никогда не умолкая, звал его далекий рокот большой Реки.

Потом перед его мысленным взором промелькнули луг с кочками, прибрежный камыш, старый тополь с лохматой верхушкой, ломающийся лед, нарастающий шум реки.

Лутра встал, сполз на кромку плывущей льдины, понюхал воду, и будто только теперь сломались, обрушились тесные границы гор. Карта желаний, необъяснимой тяги в новые места точно куда-то исчезла из его головы, и место ее, все затопив, заняла широкая, бескрайняя река.

Лутра расслабился и осторожно погрузился в воду, где уже робко шевелились рыбы; снизу было еще лучше слышно, где раскалывается лед, и легче выбрать место на льдине или на берегу, чтобы удобно посидеть там, поедая добычу.

Здесь не было быстрой, молнией мелькающей форели, не было стремительного течения, шумных, гулких порогов; вода текла медленно, равномерно, и жили в ней сонные карпы и сходные с ними рыбы. Добыть себе пропитание не представляло Лутре труда. Он плыл под водой от одной проруби к другой и каждый раз вылезал с рыбой, то с большой, то с маленькой, то со щукой, то с лещиком. И чем больше он утолял голод, тем больше росла его тоска по старой норе.

Среди воспоминаний выдры сохранилась, конечно, картина непонятого разрушения старого дома и какая-то неприязнь к тому месту, но на это наложился толстый слой свежих впечатлений от странствий, чужих краев, озер с форелью, грохота выстрела и пещеры с мелким песком, где

живут летучие мыши. И ему казалось, что старая нора по-прежнему существует.

Он проплыл подо льдом мимо своей летней квартиры, даже не вспомнив о ней, но отсутствие старого тополя его насторожило, и с противоположного берега он некоторое время изучал обстановку.

Однако долго ждать он не мог: река заволновалась, лед на ее спине стал ломаться, льдины громоздились одна на другую, глубоко погружались и вновь выныривали на поверхность, ходили ходуном; торосы распадались. Лутра думал о своей ране, из-за которой непредвиденное столкновение с какой-нибудь льдиной было бы очень нежелательно. Больше нельзя было ждать.

Нырнув поглубже, он переплыл реку и, внимательно прислушиваясь и приноживаясь, полез в устье туннеля.

Очутившись в старой норе, он ничуть не удивился, что там ничего не изменилось.

Нижняя часть ее была припорошена землей, и с потолка свисало больше, чем раньше, корней, — вот и все перемены.

Какой-то блаженный покой охватил старую выдру; она легла, закрыв глаза, словно за время ее отлучки ничего, ровным счетом ничего не случилось.

В это утро Река почти полностью расправилась со льдом. Разломала его, покрутила, растопила замерзшую воду и льдины, те, что побольше, выбросила на берег, где их пронзали солнечные лучи, обтесывал тихий южный ветерок, и они вскоре начали таять.

Потемнел склон холма, по дорожным колеям побежали ручейки, заросли камыша затопила снеговая вода. В мышиных норках она журчала так, точно лили во флягу доброе вино, и народ Цин, к полному удовольствию прилетающих и улетающих сарычей, сушил на солнце свои потертые зимние шубки.

— Къё-къё! — кричали, кружась высоко в небе, прилетевшие обыкновенные канюки, а зимняки, расправив крылья, молча спешили на север.

Они улетели бы и раньше, но над ними проносились одна за другой стаи гусей, и они не хотели лететь в их обществе.

Зимняки, важные, молчали, переваривая пищу. Но когда появились обыкновенные сарычи, они, не попрощавшись, двинулись по древнему пути осенних и весенних перелетов. И подобно тому как у Лутры, так и в мозгу перелетных птиц от желанья вить гнезда зажглась призывная лампочка. У кого раньше, у кого позже, у всех в свое время.

Черные пятна пашен все увеличивались, точно омытые весенним паводком, из островков они превращались в материки, среди которых скромно жалась, словно стесняясь, что они еще существуют, белые пятна снега.

В теплом влажном воздухе не прекращалось движение. Только что над полями пронеслась стая скворцов. С пронзительным свистом разрезая воздух, они спикировали туда, где еще осенью стоял камыш, потом, разочарованные, взмыли ввысь, и лишь пара уже ранее здесь живших скворцов снизилась в густой кустарник; им не был нужен камыш как место привала, тут, в лесочке, их ждало прошлогоднее дупло.

Прилетели и пустельги. Одна пара с резким криком кружила над пнем старого тополя и, не найдя прежнего пристанища, страшно негодовала.

— Где тополь, где он? — клекотала самка, особенно раздраженная происшедшими переменами. — Тут он был, тут был, а теперь его нет.

И поскольку этот невыносимый шум прекрасный повод для ссоры, взлохмаченная серая ворона, примчавшись из прибрежного лесочка, нападает на пустельгу.

— Напр-р-расно вы возвратились, напр-р-расно! — визжит и трещит она. — Обжираться сюда прилетели? Убирайтесь отсюда!

Но пустельга, эта мирная и полезная птица, утомленная длинной беспокойной дорогой, сейчас настроена нервно и не склонна выслушивать оскорбления серой вороны. Вспомнив о своем родстве с соколами, она набрасывается

на задиру, да так, что та чуть не падает на землю. Потом постельга вместе с самцом улетает.

— Кар-кар, достанется им! — каркает ворона, мчась обратно в лесок, где ее будущий супруг трется клювом о ствол дерева.

— Поделом тебе! — ворчит он, моргая. — Сейчас время кормиться, а не затевать драку.

Ветра нет, но медленно струится океан теплого воздуха, растопляет снег, испаряет влагу, сушит землю, пушит, тревожит птичьи перья и шерсть зверей, так что Калан вопреки обыкновению чешется даже ночью, а Карак, бегущий по срочному делу, присаживается на минутку, чтобы поскрести за ухом, — ведь под ослабевшей зимней шерстью кожа приятно, но сильно зудит.

С каждым днем дали становились все лучезарней, красивей, принаряжались, как невеста, и каждое утро в большом оркестре полей и лесов звучал новый инструмент.

Зарю приветствовал игрой на флейте певчий дрозд, а когда взошло солнце, слово перенял жаворонок, посылая привет и полям, и кротким облачкам.

Пашни были окутаны дымкой, над лугами порхали чибисы, не переставая пищать, — но что же им делать, если иначе кричать они не умеют? — и возле камышей важно вышагивали два аиста, поднимая ноги в красных сапожках.

Вода в реке течет тихо, скользит меж берегов, словно по бархату, не слышно даже плеска весел. Правда, машет ими не егерь, а рыбак Янчи Петраш, и этим все сказано.

Словно по воздуху бесшумно плывет большая тяжелая лодка, но поравнявшись с пнем от старого тополя, замедляет ход.

«Посмотреть, что ли? — спрашивает сам себя Янчи. — Посмотрю, пожалуй».

Солнечные лучи скользили еще невысоко, совсем близко к земле, хорошо ее освещая, и он застыл, открыв от изумления рот. Перед темным входом в нору на глине виднелись большие, с мужскую ладонь, следы выдры. Рыбак

кивнул головой, лицо у него покраснелось, а в глазах вспыхнул огонек древней охотничьей страсти. Он тихо поплыл дальше, вниз по реке, а потом стал так нажимать на весла, что старая лодка закрипела:

— Потихе! Больно торопишься.

Миклоша, к счастью, он застал дома. Не успел Янчи и слово вымолвить, как егерь, будто обо всем догадавшись, схватил его за руку.

— Янчи, не морочь мне голову!

— Сам видел, своими глазами. Свежий след, огромный, с мою ладонь.

— Эсти, мне надо идти!

Эсти с подозрением поглядывала на двух перешептывающихся мужчин. Она готова была приревновать мужа, не к Янчи, конечно, а так, вообще.

— Сейчас?

— Да, срочно. Узнаешь потом, зачем... Пошли, Янчи.

Рана у Лутры почти совсем затянулась, и, плавая, он едва ее чувствовал. Его ночная охота вполне удалась: в согревающейся воде закопошилась рыба. Он погулял на славу. Наелся досыта и потом убивал лишь ради удовольствия.

Несмотря на свое прекрасное зрение, он не заметил, что на берегу стоит стройная девочка в зеленых сандалиях, сама Весна. В платье, сотканном словно из тумана, с белым венком на голове, она с грустью следила за кровавой бойней. А потом увидела, как маленькая выдра, самочка, приближается к Лутре, а тот показывает зубы:

— Чего тебе нужно от меня? Убирайся, не то разделаюсь с тобой!

Испуганная самочка скрылась, а стройная девочка вздрогнула, словно ее ударили.

— Больше я не стану о нем заботиться.

Но Лутру с его суровым нравом трудно было пронять, и этот нежный шепот он пропустил мимо ушей. Кроме собственной персоны его не интересовал никто на свете,

даже его детеныши. Он замкнулся в себе, отстранившись от большого плодотворного круга всеобщности, где рождается всякая жизнь и куда она возвращается.

Перед рассветом он вполз в свою нору и, облизав уголки окровавленного рта, удовлетворенно засопел. Он слышал, как проплыл туда и обратно Янчи, но это ничуть его не беспокоило, и лишь когда лодка снова вернулась, слегка насторожился.

Лодка остановилась, и вода в туннеле подозрительно заплескалась: что-то там происходило. Но шум смолк, и откуда было знать Лутре, что три пары крепко воткнутых в дно вил загородили ему главный выход.

Когда лодка отплыла, он вздохнул с облегчением, но тут у запасного выхода послышалась какая-то возня, потом топот и человеческие голоса.

— Здесь, Янчи...

Держа ружье наготове, Миклош стоял на берегу, а Янчи воткнул в землю вилы.

Нервы у Лутры напряглись до предела. На спину ему упало несколько комочков земли, но он не потерял головы. Бросив взгляд на колеблющийся свод, он стал тихо спускаться к туннелю. Скорей, скорей переплыть под водой на тот берег, на тот берег!

Но когда он увидел преграждающую путь решетку из вил, сердце его тревожно забилося. Повернув назад, он помчался во весь дух. Нельзя терять ни секунды, есть еще запасной выход.

— Не торопись, Янчи. Если отверстие уже достаточно большое, позвякай вилами.

С трудом протиснулся Лутра в запасной выход, которым никогда не пользовался, и оцепенел, увидев там тоже проклятую, устрашающую решетку.

— Янчи! Не суетись!

Большая выдра лежала притихшая: у нее за спиной в нору проникали свет и человеческий голос.

— Отверстие большое, хватит. А теперь отойди немного и сильно ударь по рукоятке вил.

Лутра слышал, что наверху приближаются шаги; тихонько подавшись назад, он с трудом повернул в другую сторону. Опасность отступала, а подозрительным отвертением над головой, казалось, можно воспользоваться для бегства. Он подполз ближе. Этот новый, просторный выход сулил свободу.

Тут где-то сзади рыбак сильно ударил по рукоятке вил, и Лутра, подбравшись, выпрыгнул из норы, но в ту же секунду грянул выстрел, и в глазах у него потемнело.

Тело Лутры в последний раз вытянулось и, точно ища покоя, замерло в неподвижности.

Ветер, слегка отдуваясь, шел следом за девочкой Весной. По мере того как они покидали край буков и дубов, а потом и сосен, сыроватый воздух становился все чище. Они уже поднялись к заснеженным высокогорным лугам, где белели растрескавшиеся огромные камни и лесной жаворонок играл на флейте для своей сидевшей в гнезде подружки.

Ветер с удивлением подумал, как девочка выросла за какие-нибудь несколько дней, хотя вполне мог бы знать, что это обычная история. Еще вчера она была от горшка два вершка, а сегодня уже стройная, как тростиночка, невеста на выданье. Вот и маленький лесной певец, сев на ее плечо, поет:



— Дейд-ли-ли, дюд-ли-ли, наконец-то ты пришла! Яйца уже треснули.

Тишина вокруг юной красавицы наполнилась звоном, жаворонок закрыл глаза, Ветер попытался побороть непривычную сонливость.

Кивнув головой, девушка подняла руку:

— Пусть посетят вас сновидения!

Птичка тут же спрятала голову под крыло, Ветер привалился к большому утесу.

К ним приблизились дали, и остановилось время.

Приблизились гнезда, цветочные бутоны, лес, равнина, река, свет и тень, движение и неподвижность, которые почти сливаются воедино, порождая друг друга.

Они видят, как Миклош дрожащими руками поднимает с земли Лутру; видят Эсти и слышат, как она вскрикивает при виде гигантской красивой выдры, и возглас ее проносится над садами, точно редкая птица радости.

Видят старую мельницу, загребающую воду, время и труд, время, воду и труд, без которых нет человеку жизни на земле. Пирата, слоняющегося по двору, потому что ночью родились Пиратики, Марош выставила его из конуры, и ему теперь негде преклонить голову.

В своей комнатушке сидит мельник и глядит на дымок своей трубки, исчезающий немногим быстрее, чем жизнь, прислушивается к грохоту работающих жерновов, рождающих муку, а она рождает силу, а сила — труд и движение.

Видят плуги и сеялки, высеваяющие жизнь; и ворон и сарычей, ее уничтожающих.

Видят, как на постели, устланной травой и перьями, лежит маленькая выдра и ее сосут слепые детеныши, — у них лишь через десять дней откроются глаза, и они не знают, что их отец проплывает мимо норы в старой лодке, ставшей ему гробом.

Четверо детенышей пока еще неловкие, беспомощные пушистые комочки, но в их тельце заложено все необхо-

димое, чтобы встать на путь, навсегда потерянный для их отца.

Маленькая выдра даже не поднимает головы, когда перед ее норой проплывает лодка, но даже если бы она знала, что в этой лодке, то и тогда не подняла бы головы, — ведь кроме будущего детенышей ничто на свете ее не интересует.

Они видят, как мечутся озабоченные мыши, заглядывают в норки суслики, как сонный хомяк в широких штанишках выходит из своего замка озабоченный, как и все, у кого кладовая постоянно полна припасов и голова заботы: что, де, было бы, если бы кладовая опустела.

Видят лиса Карака в потертой шубке, со скорбно поникшим хвостом; изведенный тяжкими невзгодами, он вспоминает свою вольную холостяцкую жизнь, гусей и прочих удивительных птиц, которые теперь все равно что перевелись, — ведь семеро, да, семеро лисят готовы съесть и ржавый гвоздь, не только пару больных птичек и отощавших за зиму мышей. А пищу надо доставать хоть из-под земли, так как Инь, в прошлом податливая молодая жена, завтракает одними майскими жуками, а курицу, которую с риском для жизни он унес средь бела дня с мельникова двора, отдала лисятам.

Карак, в конец растерянный, бредет повесив нос; но когда испуганно вскрикивает дрозд, до лиса сразу доходит, что прекрасному певцу угрожает змея.

Прочее — дело ловкости, а уж ловкости Караку хватает. Через несколько минут его дорогие детки уже играют со змеей, перетягивают канат.

— Таких красивых лисят больше нигде не сыщешь, — смотрит Инь на Карака.

— Все в маму пошли! — кивает Карак, которому, как мы знаем, галантности не занимать.

И видят старика Петера Ужарди среди его камней и рыб. Видят, как ворон выловил у Рыжухи всех блох — такую исключительную предупредительность трудно ждать даже от лучшего друга.

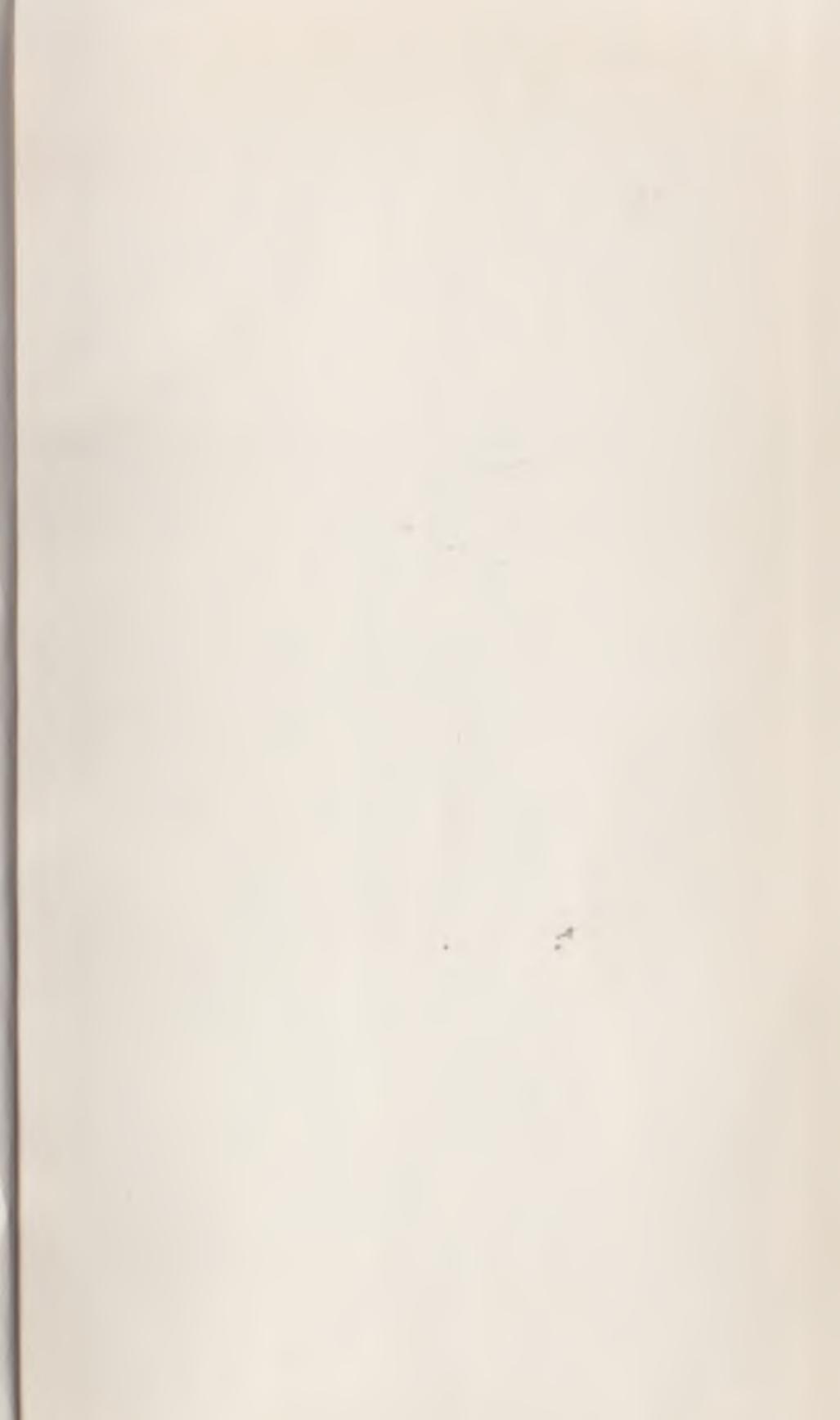


Видят Ферко на рыбноводческом заводе среди сотни тысяч личинок форели, которые уже третий день пытаются превратиться в настоящих рыбок, и это событие произойдет сегодня.

Видят зеленое море камыша, где нет больше и следа пожара; слышат жужжание луга, тихо льющуюся песню многих весен, как свет и время, неизвестно откуда приходящих и куда уходящих.

Видят во вращении большого колеса жизни всё, кроме одного: где всему этому начало и где конец.





2 р. 20 к.